

BOHEMISTYKA

2/2003

Rocznik III – ISSN 1642-9893

Redaktor naczelny
Mieczysław Balowski

Komitet Redakcyjny:

Mieczysław Basaj (Warszawa), Neil Bermel (Sheffield), Marie Čechová (Praga), Jiří Damborský (Ostrawa), Fryderyk Drejer (Wałbrzych), Ernst Eichler (Lipsk), Milan Fryšček (Nowy Jork), Jaroslav Hubáček (Ostrawa), Marie Krčmová (Brno), Jan Kořenský (Praga), Eduard Lotko (Ołomuniec), Alena Macurová (Praga), Margerita Mladenowa (Sofia), Walery Mokijenko (Greifswald), Dobrava Moldanová (Ústí nad Labem), Galina Nieszczimienko (Moskwa), Teresa Zofia Orłoś (Kraków), Janusz Siatkowski (Warszawa), Hana Sodeyfi (Wiedeń), Jiří Svoboda (Ostrawa), Józef Zarek (Katowice)

Sekretarz Redakcji
Anna Zura

Spis treści

Artykuły i studia

Роза Х. Тугушева, <i>Развитие понятия «ждать» в чешском языке</i>	81
Михаил С. Хмелевский, <i>К истории формирования наречий степени признака и меры (чешско-польские параллели)</i>	90
Роза Х. Тугушева, <i>Коннотации растительной лексики как отражение картины мира (чешский лес)</i>	104
Тамара А. Милютина, <i>О словах-концептах «цыган», «цыганский» в «Прощание с Матёрой» В. Распутина и их аналоги в переводе на чешский и польский язык</i>	112
Александр В. Савченко, <i>Элементы «военного языка» в структуре художественного произведения (на материале романа Й. Шкворецкого «Танковый батальон»)</i>	128
Татьяна Е. Аникина, Михаил Б. Шулин, <i>Чешско-русский толковый словарь языка писателя</i>	140
Марина Ю. Котова, <i>Паремнологический минимум русского языка в сопоставлении с чешским языком</i>	148
Милена О. Мельниченко, <i>Об одном забытом учебнике русского языка для чехов</i>	157

Recenzje, omówienia, noty

Libor Pavera, František Všetická, <i>Lexikon literárních pojmů</i> , Olomouc 2002, 422 s. (przez Barbarę Bogotębską)	163
Aleš Haman, <i>Nástin dějin české literární kritiky</i> , nakladatelství H&H, Praha 2000, 132 s. (przez Vladimíra Novotného)	165
Milan Hrdlička, <i>Cizí jazyk čeština</i> , nakladatelství ISV, Praha 2002, 150 s. (przez Jiřego Rejzka)	168
Książki nadesłane do redakcji „Bohemistyki”	169

Kronika

Jaroslav Moravec, <i>Dík, že jsem byl učitelem i žákem LGU</i>	173
Галина А. Лилич, <i>Чешские специалисты и возрождение богемистики в послевоенном Ленинграде</i>	176

Наталья К. Жакова, <i>Изучение и преподавание чешской литературы на кафедре славянской филологии ЛГУ–СПбГУ</i>	179
Ольга В. Васильева, <i>Чешский раздел библиотеки кафедры славянской филологии СПбГУ</i>	185
Марина Ю. Котова, <i>Богемистика в СПбГУ в конце XX–начале XXI века</i>	187

Informacje dla Autorów „Bohemistyki”

Ze względu na konieczność ujednolicenia strony graficznej tekstów drukowanych w „Bohemistyce” podajemy poniżej zasady opracowania tekstu maszynopisu:

1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron normalizowanego maszynopisu (format A4, 30 wierszy na stronie po 60 znaków w wierszu), objętość recenzji i pozostałych tekstów (np. informacji, artykułów jubileuszowych itp.) – do 8 stron.
2. Przypisy należy podawać po artykule.
3. Tablice, wykresy i inne obiekty graficzne powinny być dołączone na końcu tekstu na oddzielnych kartach. Natomiast w tekście Autor powinien zaznaczyć miejsce, do którego się one odnoszą.
4. W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism, konferencji, cytaty (o ile nie są inaczej wyodrębnione w tekście, np. inną wielkością czcionki).
5. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty, zdania, ponadto tytuły prac zwartych i ich części (np. rozdziały), tytuły artykułów, zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst. Na wydruku należy te fragmenty oznaczyć linią falistą.
6. Podkreślenia tekstowe oznaczamy spacją, na wydruku – podkreśleniem linią przerywaną.
7. Znaczenia wyrazów, idiomów czy innych zwrotów podajemy w łapkach ‘ ’.
8. Prace należy przesłać wpisane do komputera w programie WORD v. 6.0 (i wyższa) z dwoma wydrukami.
9. Autorów prosimy o dokładne podanie imion, nazwisk, stopni i tytułów zawodowych lub naukowych, nazw miejscowości, adresów prywatnych i numeru telefonu lub e-mailu.
10. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie odsyła.

Warunki prenumeraty

1. Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane na okresy roczne.
2. Cena prenumeraty na cały rok wynosi 20 zł.
3. Wpłaty na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo „Pro”, skr. poczt. 7, 59–230 Prochowice.
4. Terminy przyjmowania prenumeraty: na kraj do 10 listopada, na zagranicę do 31 października.

Wydawca: Wydawnictwo „Pro” i PWSZ w Wałbrzychu (58–309), ul. Westerplatte 39, tel. + 48 74 / 666 00 71, e-mail: mieczyslaw.balowski@uni.opole.pl

Развитие понятия *ждать* в чешском языке

Изучение формы слова и его значения с точки зрения когнитивной лингвистики позволяет глубже проникнуть в механизм взаимодействия трех основных составляющих феномена языка: самого языка, человека с его мыслительными способностями, а также объективной материальной действительности.

В наиболее обобщенном виде семантика слова в настоящее время трактуется как информация о том, что человек знает, предполагает, думает, воображает об окружающем его мире (Лукашевич 2001, 35). Сказанное относится и к единицам основного словарного фонда, который у каждого народа сформировался в глубокой древности, что, однако, не мешает носителям языка пользоваться ими и сегодня. Вместе с тем знания о мире в древности у человека были иными, по сравнению с сегодняшним днем, вследствие чего можно предположить, что характер этих древних знаний, наряду с другими факторами, тоже способствует устойчивости слов основного словарного фонда на протяжении веков.

Единицей основного словарного фонда в современном русском языке выступает глагол *ждать*, которому в чешском языке соответствует сегодня глагол *čekat*.

Ожидание предполагает наличие прежде всего физического, т.е. пространственного местонахождения человека (стоять, лежать, сидеть и т.д. в определенном месте) в симбиозе с его душевным состоянием. Пространственная составляющая концепта *ждать* довольно отчетливо просматривается в словообразовательной структуре, например, латинского глагола *praestolor* 'ждать' или существительного *praestolatio* 'ожидание, надежда',

в которых, по-видимому, можно выделить сегменты *prae* 'перед чем-либо или впереди', *sto* 'стоять' и *lacio* 'привлекать, заманивать'. Физическая кондиция человека передается здесь главным образом элементом *sto* 'стоять'. В целом же указанные латинские формы отражают, вероятно, понимание человеком ожидания как части древнего охотничьего промысла, что проявляется также, например, и у древнечешского глагола *lákati* 'привлекать, заманивать', восходящего к тому же *la-* звукоподражательного характера, что и латинское *lacio* (J 2, 258).

Синонимом *praestolor* в латинском языке выступает глагол *expectare* 'ждать', от которого произошли современные формы французского *espérer* и английского *expect* в значении 'ждать, надеяться'. В структуре же *expectare* выделяются *ex* 'вверх' и *specto* 'видеть', что также можно связать с охотничьей сферой деятельности человека в далеком прошлом, которая, как и всё в древности, была неотделима от связи с высшими, божественными силами.

Глаголу *ждати* в первых памятниках старославянской письменности соответствует 10 эквивалентных многозначных древнегреческих глаголов, содержащих в своей смысловой структуре значение 'ждать'. Эти 10 производных глагольных древнегреческих наименований по своей словообразовательной структуре соотносятся с 5 производящими основами: 1. μένω; 2. κεῖμαι; 3. βάλλω (о βάλλω см. и далее); 4. δέχομαι; 5. δοκέω с первичными значениями соответственно: 1. 'стоять на месте'; 2. 'лежать, покоиться'; 3. 'бросать, кидать'; 4. 'получать, принимать'; 5. 'казаться, представляться', из чего видно, что первые три глагола соотносятся с конкретным физическим действием или состоянием человека, а последние два отражают работу ума.

Связь значения 'получать, принимать' со значением 'ждать' становится понятной, если учесть, что человек обычно ждет того, кого он уже знает, или того, что он уже себе представляет, чей образ он уже имеет в виде веры в то, что это появится в действительности. Ожидание в подобном осмыслении выступает как

наличие веры в отсутствие яви. Понимание ожидания, связанное с верой, заключено, вероятно, в общеславянском глаголе *надеяться*, от *надети на себя* (Ф 3, 37), что, по древним представлениям, означало, возможно, ‘наложить, принять на себя веру’. Ждать, следовательно, – это пребывать с верой, верить, что обнаруживает связь ожидания с умственными процессами, передающими разную степень веры, – *казаться, предполагать, рассчитывать* и т.д.

Снижению интенсивности употребления глагола *naditi se* – *надеяться* к настоящему времени в чешском языке, по сравнению с предшествующими веками, и постепенному вытеснению его из активной сферы глаголом *doufat* способствовала, вероятно, неустойчивость исторических форм *naditi se*, сближавших его в прошлом с образованиями от глагола *dáti* – *дать*, ср. *naditi se* с его фонетическим вариантом *nadáti se*. В отличие, однако, от производящего глагола *nadít se* ‘надеяться’, отглагольное существительное *náděj* ‘надежда’, утратив в процессе исторического развития свой синоним *čáka*, сегодня является основным средством вербализации понятия надежды в чешском языке, закрепленном в сочетании *mít náděj* ‘иметь надежду, надеяться’, синонимичном глаголу *doufat*.

В древнепольском языке понятие ‘надежда’ выражалось словом *rwá*, с которым сегодня по происхождению связано в польском же *rewny* ‘твердый, крепкий’, в чешском *revný* ‘твердый, крепкий’, *revnost* ‘крепость, твердыня’ и др., в русском глагол *уповать* и т.д. (В 449). С глаголом *oupъвати* ‘твердо надеяться, возлагать большие надежды’ первые памятники славянской письменности регистрировали более ста употреблений (СС 743). В русском языке глагол *oupъвати* получил форму *уповать*, возможно, под влиянием греческой приставки *υπο-*. В польском и чешском языках из корневого сочетания *-rv-*, возникшего после выпадения *-ъ-* в слабой позиции, образовался звук *-f-*, в результате чего из *oupъвати* в польском языке появился глагол *ufać*, а в чешском *úfati*, который под воздействием *důvěra* ‘доверие,

вера’ (М 124) изменился в *doufati* ‘надеяться’. Таким образом, чешский глагол *doufati* по своему происхождению отражал культовое понимание процесса ожидания, основным элементом которого была надежда, от твердости которой на земле зависела вечная жизнь на небе. Со временем глагол *doufati* утратил ореол высоты и стал соотноситься с надеждой вообще. Утверждению глагола *doufati* в качестве основного средства выражения понятия ‘надеяться’ в чешском языке, возможно, способствовал его немецкий эквивалент *hoffen* ‘надеяться’, генетически связанный как с чешским *doufati*, так и с латинским *opinor* ‘полагать, считать’.

Процесс ожидания предполагает, как правило, отсутствие какого-либо конкретного активного физического действия со стороны ждущего, что находит отражение и в известном русском фразеологизме *ждать у моря погоды* ‘бездействовать, ничего не предпринимать’. Активным фактором для того, кто ждет, выступает время, которое, в отличие от ждущего, идет или течет, но которое не осознается человеком как воплощение его, человека, интенции. Эта последняя в свою очередь в сознании ждущего человека связывается с активностью какой-то другой силы, которая должна явить человеку то, чего у него в данный момент нет и что должно положить конец его ожиданию. В этом смысле концепт ожидания складывается из трех составляющих: 1. времени; 2. неактивного действия, поведения ждущего и 3. активного действия другой силы. Все указанные три аспекта понятия ожидания у носителей древнечешского языка выражал глагол *hoditi*.

Все, чего не было у людей на земле и чего они могли желать, по древним представлениям было на небе у богов, которые сбрасывали людям оттуда блага, подобно, например, Гефесту, кинувшему людям с неба клещи (Волошина, Астапов 1996, 92). Элементы этого языческого мировоззрения человека, отражающего его взаимодействие с силами природы, проступают в древнейших контекстах употребления глагола *hoditi*, который в совре-

менном чешском языке является глаголом совершенного вида и обозначает ‘бросить, кинуть, метнуть’.

Чешский ученый Я. Гебауэр видел в древнечешском глаголе *hoditi* производное от существительного *hod*, соотносимого с понятием времени. В одном из приводимых им в его словаре примере *hod* выступает, например, как ‘начало’ (*Zajtra t' jest hod (nového měsíce) – cras calendae sunt*), а в сочетании с наречием *pozdě – pozdě hodě* – оно обозначало ‘поздно’ (*a již pozdie hodie bieše*; G 1, 445). Праславянское **godъ*, соотносимое с понятием времени, получило, как показывают исследования Н.И. Толстого, широкое отражение во многих современных славянских языках, например, в русском *год*, *погода*, в чешском *hodina* и другие (Толстой 1997, 62). Глагол же *hoditi* в древнечешском языке, в отличие от чешского языка сегодняшнего дня, обозначал не только ‘бросить, кинуть, метнуть’, но и то, что, вероятно, в глубокости древности предшествовало этому ‘броску’, что было когда-то связано с ожиданием этого ‘броска’.

Древнечешские контексты зафиксировали глагол *hoditi* как в форме имперфектива, так и в форме перфектива, причем имперфект *hoditi* больше отражал время, а перфект *hoditi* – конкретное физическое действие ‘бросить’.

Контексты на употребление глагола *hoditi* в форме несовершенного вида показывают, что как обозначение действия человека он соответствовал самому общему представлению об этом, т.е. тому, что может быть представлено значением ‘поступать, действовать’, которое реализовалось в связанном сочетании *hoditi času*: *Nemienim, by bylo přehlédati (t. chyby něčí) zřejmě proti bohu, ale s rozumem má člověk h o d y t y č a s u* (G 1, 445) – (Не думаю, что следует игнорировать явные заблуждения против бога, но человек должен п о с т у п а т ь р а з у м н о). В данном контексте слово *čas* ‘время’ по смыслу приближено слову *bůh* ‘бог’, а устойчивое сочетание *hoditi času* означает, вероятно, ‘поступать богоугодно’, т.е. так, чтоб заслужить божественную благодать. Глагол *hoditi* как имперфектив сочетался с именами в дательном падеже

– *hoditi komu-čemu* – и нередко обозначал не главное действие, а попутное или параллельное основному действию, имеющее отношение к внутреннему миру человека, что выражалось в деепричастной форме его употребления:

Nemohlo jemu [Namanovi] toto pomoci, jelíž se kúpал u vodě sedmkrát, svému zdraví h o d y e. – [Jídáš] s bratrem chodě, nevěrnému skutku h o d y e, dotad sě s ním vodú kropí, až ho utopí (G 1, 445).

Если исходное слово *hod*, как отмечалось, указывало на начало чего-н., то в форме глагола *hoditi* признак начала трансформировался в признак предшествования, который присутствует в значении ‘предвидеть’: *Tobě n e h o d í m jiného, než což by bylo užitečno* (G 1, 445).

В целом, таким образом, в употреблении древнечешского глагола несовершенного вида *hoditi* просматриваются ‘осколки’ концепта ‘ждать’, который в доисторическом прошлом, однако, мыслился не отдельно, а в составе единого законченного временного цикла, объединяющего начало и конец определенного действия. При этом начало, т.е. собственно ожидание, относилось к поведению людей на земле, а конец характеризовал действие богов на небе. Самым ярким моментом в этой временной цепи был сам акт, т.е. действие высших сил, ‘бросок’ в виде, например, лучей солнца, или, наоборот, дождя и т.д., в то время как то, что предшествовало ‘броску’, т.е. ожидание последнего, осознавалось не как нечто самостоятельное, отдельное от ‘броска’, а тесно с ним связанное. Человек в ожидании небесной благодати должен был готовиться к ее получению, угождая сверхъестественным силам, т.е. вести себя, поступать так, чтоб заслужить их благодетей, чтоб быть достойным ниспосланий свыше. Так постепенно от *hoditi* в форме несовершенного вида, соотносимого с ожиданием, развилось *hoditi se* ‘быть впору, кстати, на пользу’, которое засвидетельствовано уже в памятниках старославянской письменности и употребляется в чешском и русском языках и поныне (*hodit se – годиться*). В результате трансформации глагола несовершенного вида *hoditi* в *hoditi se* в чешском языке остается

только форма совершенного вида *hoditi* ‘бросить’. *Hoditi* как *ждать* исчезает из чешского языка, но продолжает жить в разговорном русском языке как *годьть*, которое чаще употребляется с приставкой *по-* в форме повелительного наклонения – *погоди, ну погоди*. Таким образом, от единого смыслового целого, выражаемого праславянским **goditi*, в чешском языке осталось ‘бросить’, а в русском ‘ждать’.

Связь бросания с ожиданием, характерную для древнего сакрального сознания человека, отражает также древнегреческий многозначный глагол *ᾠαβάλλειν*, смысловая структура которого содержит значения, связанные как с понятием ожидания (‘отсрочивать, откладывать’, ‘задерживать, затягивать, медлить’), так и с концептом времени (‘приступать, начинать’) (Д 1, 110). По форме же указанный глагол представляет собой приставочное образование от глагола *βαλλω* ‘бросать, кидать, метать’ (ср. *баллистика* ‘наука о траектории полета’).

В отличие от других греческих глаголов, выражающих понятие ожидания безотносительно к признаку времени, глагол *ᾠαβάλλειν* обнажал темпоральную характеристику ожидания как действия, длительного по времени его протекания, допускающим и повторы, на что указывала главным образом приставка *ᾠα-* со значением повторности действия. На славянской почве ту же повторность можно наблюдать в польском дискурсе XVI в., содержащем такие выражения, как например, *czekajęc ożydałem rana* или *czekajęc czekał* (В 663).

Происхождение глагола *ждать* этимологи устанавливают лишь на уровне родства, например, с лит. *geidžiu, geosti* ‘жаждать, желать’ (М 723). Вместе с тем обращает на себя внимание, например, что *ждать* входит составной частью в структуру глагола *угождать*, связанного с корнем **godъ*, или, например, то, что *ждать* несколько созвучно имени древнеславянского бога *Дажьдь-бог* или *Дажь-бог*. Нидерле предполагал, что *Дажь-бог* является русским локальным обозначением дающего бога (Нидерле 2000, 309). Возможно, связь *ждать* с именем *Дажь-бог*

и обеспечила жизнь глагола в русском языке и, наоборот, утрату его в чешском, где этого созвучия не было. Вместе с тем самые древние письменные памятники чешского языка, например, Далимилова хроника, засвидетельствовали глагол *ždāti*, который оказался здесь, вероятно, из старославянского наследия: *Ač ji chceš na této cestě ždāti* (J 5, 831). Но к XVI в. *ždāti* выходит из употребления в чешском языке, уступая место глаголу *čekati*, который, в отличие от *ždāti*, уже в самых первых памятниках письменности предстает как активное, широко употребительное средство выражения понятия ожидания как времени, связанного с верой и надеждой на появление того, чего или кого человек ждет. В более ранних по времени памятниках *čekati* выступает в форме *čakati*, которую впервые Добровский связал с праславянским **čajati* (J 1, 269). В свою очередь глагол *čajati* некоторые этимологи, как например, Брюкнер, связывают с существительным *čas* ‘время’ (В 73), что позволяет в *čajati* видеть семантическую параллель к *hoditi*, также первоначально связанному с обозначением времени. Возможно, *čajati* появилось из сочетания *čas jati*, так как ожидание – это не просто время, а время, ‘схваченное надеждой’. В древнечешском языке *čajati* в результате формирования новых глагольных основ на *-kati* сначала изменилось в *čakati*, подобно тому, как праславянское **lajati* ‘подстерегать, сидеть в засаде’ в чешском языке перешло в *lákati* ‘привлекать, манить’. Первоначально *čajati* тоже выражало сакральный смысл ожидания, которое, однако, по времени растягивалось на всю человеческую жизнь, так как, в соответствии с христианством, в загробный мир, в котором человек видел свое спасение и которого он ждал, желал и жаждал, он мог попасть только после своей смерти. Вследствие этого связь глагола *čajati* с признаком времени постепенно размылась и *čakati* перешло в *čekati*, возможно, под воздействием глаголов *věriti* ‘верить’ или *želeti* ‘желать’, с которыми *čakati* и *čekati* были связаны семантически.

Таким образом, в словах основного словарного фонда, вероятно, предстает закодированной вошедшая в коллективную память народа информация о способах концептуализации окружающего мира носителями определенного языка с древнейших периодов их истории. Анализ показывает, что даже такие по сегодняшним меркам прозаические слова, как *ждать* по своему происхождению связаны с самыми центральными точками развития общественного человеческого сознания. Представляется, что исходная сакральная значимость, которой освящена, вероятно, вся лексика основного словарного фонда, и определяет, наряду с другими факторами, ее устойчивость.

Библиография

- Волошина Т. А., Астапов С. И., *Языческая мифология славян*, Ростов-на-Дону 1996.
- Лукашевич Е. В., *Значение слова как объект когнитивного исследования. – Проблемы типологии языковых единиц разных уровней*, Бийск 2001.
- Нидерле Л., *Славянские древности*, Москва 2000.
- Толстой Н. И., *Славянская лексикология и семасиология. – Избранные труды*, т. 1: *Языки русской культуры*, Москва 1997.

Сокращения

- Д Дворецкий И.Х., *Латинско-русский словарь*, Москва 1976.
- СС *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*, „Русский язык”, Москва 1999
- Ф Фасмер М., *Этимологический словарь русского языка*, т. 1–4, Москва 1964–1973.
- В Brückner A., *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Warszawa 1970.
- G Gebauer J., *Slovník staročeský*, díl 1–2. Praha, 1970.
- J Jungmann J., *Slovník česko-německý*, díl 1–5, Praha 1989.
- М Máček V., *Etymologický slovník jazyka českého*, Praha 1971.

Михаил С. ХМЕЛЕВСКИЙ
Санкт-Петербург

К истории формирования наречий степени признака и меры (чешско-польские параллели)

Во всех славянских языках в качестве языковой универсалии выделяется разряд наречий степени признака и меры (интенсификаторы), представляющих собой синонимический ряд, ядром которого в русском языке выступает слово *очень*, в польском – *bardzo*, в чешском – *velmi*, *velice*. Речь идет о таких словах, как, например: *velmi důležitý*, *strašně se těšit*, *moc dobrý*, *velice krásný*, *úžasně dobrý*, *hrozně zajímavý* (чеш.), *bardzo ciekawy*, *strasznie miły*, *ogromnie lubić*, *okropnie wiele*, *niewzwykle uradowany* (пол.) и т.п.¹ В большинстве своем эти слова восходят к качественным прилагательным, которые в результате определенных трансформаций внутри семантической структуры развили признак, послуживший толчком для формирования значения интенсификатора у производных наречий. Таким образом, образованные от качественных имен прилагательных, имеющих наряду с основным значением, вторичное значение признака в высшей степени его проявления, мотивированные наречия преимущественно развивают значение интенсификатора уже как основное. Конечной фазой семантических преобразований внутри качественного наречия является полное затемнение и вытеснение качественного значения семой показателя степени и меры, сравним: *strašně křičet* – *strašně hezky*, *děsně řvát* – *děsně*

¹ Здесь и далее, где нет ссылок на источник, примеры приводятся из словарей польского и чешского языков, см. библиографию.

krásné oči, šíleně se chovat, šíleně bojovat – šíleně velký, šíleně se zajímat o hudbu (чеш.), *serce mocnie bije – mocnie straszliwy, straszno wyglądać – strasznie duzo, strasznie kochać* (пол.) и т.п.

Данную группу наречий-интенсификаторов следует отличать от групп количественных и качественных наречий с иными семантическими функциями. Основной функцией интенсификатора является интенсификация действия, признака, признака признака, т.е. другого наречия, а также категории состояния, соответственно, они являются показателями измерений по имплицитной шкале (Януш 1990, с. 267), тогда как количественные наречия квантифицируют частоту проявления признака, его многократность и длительность, а также указывают на большое неопределенное количество, в свою очередь качественные наречия дают качественную характеристику признаку или действию. Сравним:

1. *Piotr bardzo (strasznie) się mylił w życiu* (пол.), *Zuzka se velmi (velice, hrozně) zajímala o hudbu* (чеш.) ‘очень, сильно’ – интенсификация действия,
2. *Piotr duzo (wiele) się mylił w życiu* (пол.), *Zuzka se mnoho (hodně) zajímala o hudbu* (чеш.) ‘много’ – количественная квантификация, частотность,
3. *Piotr często (głęboko) się mylił w życiu* (пол.), *Zuzka se často (hluboce, celoživotně) zajímala o hudbu* (чеш.) – качественная характеристика действия.

Рассматривая данный разряд слов внутри лексико-семантической категории количественности, следует подчеркнуть, что наречие является одним из самых распространенных средств передачи интенсивности в языке (Сергеева 1967, с. 3). В свете отнесенности наречий-интенсификаторов к категории экспрессивности и оценки чешский лингвист В. Матезиус отмечал, что характерной чертой слов данной группы является непрерывная тенденция к стиранию и постепенной утрате первичной эмоциональной окраски, которая относится к разряду нестабильных в языке, постоянно меняющихся характеристик значения. По

этой же причине язык нуждается в новых способах и формах выражения интенсификации, постоянно появляются новые лексемы, для которых эмоциональная окраска еще ‘свежа’ (Mathesius 1947, с. 203–223). Процесс расширения разряда интенсификаторов в языке постоянен, причем развитие значения показателя высокой меры или степени протекает по определенным лексико-семантическим моделям, во многом параллельным для близких и неблизких языков путям (Сергеева 1966, с. 79).

Так на материале западнославянских языков выделяются модели формирования наречий-интенсификаторов на базе качественного значения производящего прилагательного ‘большой по размерам’ (*velmi, obrovsky, ohromně* – чеш., *wielce, ogromnie* – пол.), ‘сильный’ (*silně, moc, tuze* – чеш., *silnie, mocnie* – пол.), ‘ужасный, жуткий’ (*strašně, děsně, úžasně, hrozně* – чеш., *strasznie, przeraźliwie, okropnie* – пол.), ‘крайний, предельный’ (*krajně, smrtelně* – чеш., *śmiertelnie, szalenie* – пол.), ‘положительный’ (*hodně, pořádně, slušně* – чеш., *porządnie* – пол.), ‘необыкновенный’ (*nezvykle, mimořádně, neobyčejně, nevšedně* – чеш., *niezwykle, niezwyyczajnie* – пол.) и ряд других.

С точки зрения сравнительной славянской лексикологии любопытно проследить результаты семантических трансформаций у качественных наречий в сторону развития семы показателя высокой меры или степени на материале соседних близкородственных языков, как, например, чешского и польского. Лексико-семантические модели становления данной группы слов сходны во всех славянских языках, однако различия обнаруживаются на уровне семантики, стилистики, экспрессивного наполнения, синтаксиса, сферы и периода употребления наречий, развивших семантический признак интенсификатора.

Одним из самых древних наречий-интенсификаторов является ряд слов, образованных от общеславянского прилагательного с корнем *vel-*, а именно, чеш.: *velmi, velice*, пол.: *wielce*. Исконная форма мотивирующего прилагательного **velьjъ* ‘большой’ была известна древнечешскому языку в форме *velí*. Словарь Й. Юнг-

мана (Jungman 1835–1839) фиксирует употребление и однокоренного наречия уже в значении интенсификатора, утраченное современным языком: *Ten imieše dceř jedinu sobie i všiem milu wele*. Тогда как в современном польском языке, в отличие от чешского, широко функционирует однокоренное наречие *wiele*, однако в несколько ином значении – в качестве показателя большого неопределенного количества: *wiele ludzi, wiele kłopotów, wiele lat* – ‘много’.

Продуктивным формантом для образования наречия от прилагательного **velъjъ* во многих славянских языках стала форма двойственного числа творительного падежа: чеш. *velmi* (сравним: укр. *вельми*, словацк. *veľmi*, серб./хрв. *веома*), в котором была изначально заложена потенция интенсифицировать признак либо действие. Это наречие является самым распространенным и стилистически не окрашенным интенсификатором в современном чешском языке, составляющим ядро синонимического ряда слов-интенсификаторов. Древнечешскому языку также было известно употребление однокоренного наречия в том же значении показателя высокой степени и меры в форме творительного падежа единственного числа *velím* в том же значении: *Zavidiechu bohatstvo jej velím* (Jungman 1835–1839). В древнепольском языке (14–15 вв.) также употреблялось наречие *wielmi*, аналогичное современному чешскому, однако в 16 в. оно было полностью вытеснено наречием в том же значении – *bardzo*.

В современных славянских языках встречаем и другие наречные образования с корнем *vel-*, мотивированные вторичной, более продуктивной словообразовательной формой прилагательного с суффиксом *-ik*, а именно польское *wielki* и чешское *velký, veliký* в значении ‘большой, великий’. Таким образом, в чешском языке обнаруживаем производное наречие *velice*, образованное по характерному для чешского словообразования типу с соответствующим чередованием *k/c*, которое выступает в функции стилистически не окрашенного, широко распространенного интенсификатора: *velice se těším, velice dobrý a zajímavý, velice mnoho*.

С другой стороны, в древнепольском языке, еще в переводе псалтыри, встречается форма наречия *wielice* в функции интенсификатора (Brückner 1957), давно утраченная и не известная современному языку. В современном польском языке жива форма наречия *wielce*, которая употребляется в значении показателя высокой степени или меры и относится к книжному стилю языка: *wielce przyczynić się, wielce szanowany doktorze!* В чешском языке, в словаре Й. Юнгмана также фиксируется употребление формы наречия *velce* в том же значении, являющаяся для современного языка книжным архаизмом: *velce květovaný ubrus* (Jungman 1835–1839).

Значительный интерес для сопоставительной славянской лексикологии представляют интенсификаторы *ohromně* (чеш.) и *ogromnie* (пол.), образованные по той же лексико-семантической модели – от значения мотивирующего прилагательного ‘очень большой, огромный’. Этимологически эти слова связываются с общеславянским глаголом **ohromiti* – ‘громом или грохотом испугать, как громом оглушить, ошеломить’ (Máček 1957). Чешскому языку времен Й. Юнгмана известны ставшие уже архаичными употребления типа *ohromný hlas* – ‘голос, из которого исходит ужас, оглушающий’, *ohromná bouře* – ‘оглушающая буря’ (Jungman 1835–1839). Некоторое время в языке существовали и прежнее, и новое производное значение, ср.: *ohromný třesk mečů* – ‘оглушительный’ и *ohromné zdi* – ‘большие’. Словарь современного польского языка (*Słownik języka polskiego* 1958–1968) приводит примеры, в которых данное слово употребляется в своем исконном значении: *Batalion!... naprzód marsz!... – wrzasnął ogromnym głosem nasz major; Śmiech ogromny jak grzmot rozległ się w zgromadzeniu*. Таким образом, согласно общим закономерностям, как в чешском, так и польском языках исконное значение было вытеснено, и в качестве основного развилось значение интенсификатора: *ogromny chłopisko, ogromna radość – ogromnie miły, ogromnie lubić, ogromnie się cieszyć, lu-*

dzie zakochani są ogromnie zabawni (пол.), *ohromný dub, ohromná sila – ohromně vysoký, ohromně ti to sluší, ohromně důležitý* (чеш.)

По той же модели проходило развитие значения интенсификатора у чешского наречия *náramně* на базе семантического признака производящего прилагательного ‘очень большой, огромный’. Й. Юнгман толкует этимологию этого слова через существительное *ramě* – ‘плечо’, следовательно, значение прилагательного – ‘такой большой, что можно унести только на плечах’ (Jungman 1835–1839), префикс *ná-* также выступает в значении усиления (Máček 1957). Таким образом, у однокоренного наречия развивается значение интенсификатора: *náramně vysoký, náramně velký, náramně se bát*. В польском языке подобного сдвига значения не произошло, прилагательное *naramienny* сохранило исконное значение – ‘наплечный’.

Параллельным путем проходило развитие значения интенсификатора у чешского и польского наречия с корнем *moc-*, различия обнаруживаются в стилистике, а именно в чешском языке употребление этого наречия относимо к высокому стилю (*To mně mocně inspiruje*), тогда как для польского данные употребления стилистически не маркированы (*mocnie pozytywnie wrażenia, mocnie straszliwa, mocnie wierzyć, mocnie kochać, jestem mocnie zdziwiony*). Вместе с тем, необходимо отметить, что в чешском языке в качестве интенсификатора довольно широко употребляется существительное *moc*: *to mi moc mrzí, byl bych moc rád, znám ho moc dobře, moc slabý*, тогда как в польском существительное *moc* употребляется в значении ‘много, масса, огромное количество’ и характеризуется отнесенностью к разговорному пласту языка: *moc ludzi*.

Сходно также развитие исследуемого значения у наречий с корнем *sil-*: чеш.: *silně se cítit, silně se bát, silně důležitý*, пол.: *silnie chcieć, silnie cieszyć się*. Подобный перенос значения сопровождается и поддерживается наличием в языке сочетаний, где однокоренное существительное приобретает значение количественного наречия и выступает в функции показателя большого

неопределенного количества. В чешском разговорном языке часты употребления типа *sila lidí, sila peněz* – т.е. ‘много’, однако в польском языке лишь в древней литературе возможно обнаружить аналогичные сочетания, являющиеся устаревшими для современного языка: *sila zlego dwu na jednego* (Brückner 1957).

Общеславянское слово *sila* этимологи соотносят с инд. *si-* ‘связывать’, герм. *saila* – ‘ремень’, нем. *Saila* – ‘шнур’. Такое сопоставление проясняет затемненную этимологию славянского корня: сила есть материальный предмет, гибкий шнур, предназначенный нести нагрузку, выдерживать натяжение, позднее название передалось самому натяжению (Мурьянов 1982, с. 54). В данной связи интересно сопоставить становление показателя высокой меры и степени у чешского наречия *ukrutně* и польского *okrutnie*. Этимологически эти слова связываются с глаголом *ukřtiti* – ‘скрутить, свить в веревку’. Как было замечено выше, подобное действие непосредственно ассоциируется с представлениями о физической силе, таким образом, у однокоренного прилагательного развиваются переносные значения ‘безжалостный, жестокий, суровый’, а также ‘сильный, интенсивный, значительный по степени проявления’: *ukrutná bolest, nenávist* (чеш.), *deszcz był okrutny, most z okrutnych kamieni*. Подобный перенос значения послужил толчком для формирования семы показателя высокой степени признака у производных наречий, причем качественное значение зачастую нейтрализуется: *ukrutně se lekl, jsem ukrutně zvědav, byl ukrutně rád* (чеш.), *okrutnie bogaty człowiek, Słowo to okrutnie jest barzdo w modzie, I tak mówią: ta dama jest okrutnie grzeczna, a druga okrutnie gruba, jednego okrutnie kocha, drugiego okrutnie lubi* (Linde 1859). Чешско-польские различия обнаруживаются на уровне стилистики. Чешское наречие обладает яркой эмоциональной окраской и отнесенностью к разговорно-экспрессивному стилю языка, тогда как употребление польского наречия в значении интенсификатора признака либо действия определяется словарями как архаичное и региональное.

По одинаковому пути проходило развитие значения интенсификатора у чешского и польского наречий с корнем *strach-*, сравним: *strašně dobrý, strašně zvědavý* (чеш.), *strasznie dużo, jestem strasznie głodny*. В работах чешских лингвистов нередко встречаются рассуждения об уже признанном факте, что в разговорном языке весьма часто встречаются сочетания типа *strašně krásný, hrozně dobrý*. Причем, по словам чешской исследовательницы;

[...] volné přiřazení dvou slov s protikladným významem v obecně a hovorové češtině je oblíbeným výrazovým prostředkem, jímž se vyjadřuje nadsázka, nebo se zvyšuje významový obsah základního slova (*strašně krásný, hrozně rád* apod.)... Významové posunutí příslovce *strašně* a příslovce *hrozně* v uvedených příkladech je v mluveném dorozumívání tak běžné, že vyjádření velkého nadšení nebo vynesení soudu nad něčím krásným se jiným způsobem téměř neprovádí (Škvorová 1991, с. 201).

Подобные употребления являются универсальными для всех славянских языков (русс. *страшно любить, страшно интересоваться*, словацк. *strašne pekná, strašne múdry professor*, серб. *страшно леп, страшно добар човек*, словен. *strašno rad dela na vrtu* и т.д.)

По той же лексико-семантической модели „страшно = очень” формируется и закрепляется значение интенсификатора у польского наречия *okropnie*. Интересно проследить развитие семантической структуры данного слова в истории развития языка. Этимологически оно возводится к слову *kropla* ‘капля’, соответственно, глагол *kropić* ‘брызгать’ (сравним русск. *окропить*, чеш. *kropit ulice, záhony, prádlo* ‘брызгать, поливать’). Однако у польского слова произошел семантический сдвиг, не известный другим славянским языкам, еще в древний период было развито значение, связанное с кипятком, горячей, обжигающей жидкостью: *ukrop* ‘кипяток’. Следовательно, исконным значением однокоренного прилагательного *okropny* является ‘тот, который обдает кипятком’, в последствии оно расширилось и абстрагировалось ‘приводящий в жар, ужас’. Данный перенос значения зафиксирован еще в древнепольском языке, где встречаем употребление прилагательного *okropny* уже в современном значении ‘жуткий,

ужасный, чудовищный’ (Brückner 1957). Согласно вышеотмеченной тенденции, однокоренное наречие наряду с качественным значением (*okropnie wyglądać*) развивает значение показателя интенсивности, вытесняя первичный семантический признак: *okropnie dużo, okropnie wielki*. Данный пример показывает, что для формирования значения интенсивности релевантным выступает семантический признак – в данном случае – страха, который и послужил толчком для развития значения интенсификатора. Это значение может быть исконным, как в слове *strašně*, или развитым в ходе истории языка, как, например, у слова *okropnie, hrozně*.

Любопытно также рассмотреть развитие семантики у чешского наречия *úžasně*. В польском языке не обнаруживаем аналогов, кроме этимологически однокоренного глагола *żachnąć się* ‘возмутиться, с негодованием отвергнуть’. Слово в форме, сходной с чешской, в польском языке можно встретить в памятниках 15–16 вв.: *urzasł słów* (Brückner 1957). Этимологически чешское прилагательное *úžasný* также бесспорно связывается с общеславянским значением ‘жуткий, вызывающий чувство ужаса, страха’ (Zubatý 1945, с. 19; Holub 1937). В древнечешском языке оно еще выступало в своем исконном значении, однако впоследствии это было вытеснено переносным – ‘вызывающий большое удивление, изумление, поразительный’, благодаря чему прилагательное приобрело положительную коннотацию. Семантические процессы затронули все чешские слова с корнем *úžas*. В современном чешском языке мотивированное существительное имеет единственное значение, антонимичное русскому и другим славянским языкам, – ‘удивление, изумление’: *s úžasem se dívat* ‘смотреть с удивлением’. Соответственное значение встречаем у однокоренного прилагательного: *úžasná pamět, to je úžasný oběd, úžasný den* ‘удивительный, прекрасный, замечательный’, а также наречия: *úžasně hrát na klavír, úžasně zpívat* ‘чудесно, удивительно’ (сравним: русск. *ужасный день* ‘плохой’, *ужасно петь* – ‘плохо, отвратительно’, аналогично в серб. *ужасна историја*,

ужасно изгледати). Даже в близкородственном словацком языке исконное значение прилагательного сохраняется, например, сочетание *úžasně vspomienky* толкуется словарем словацкого языка как ‘vzbudzujúce úžas, strašné’, а также наречия: *úžasne hynúť*. Однако, несмотря на столь сильное расхождение в значении данной лексемы с другими славянскими языками, чешское наречие развило семантический признак интенсификатора и в современном разговорном языке достаточно широко употребляется в качестве синонима слов *velmi, velice: úžasně rychle, je to úžasně pracovitý člověk, úžasně malý, jsem úžasně rád* и т.д. На формирование данного значения у чешского наречия оказали влияние потенциально заложенные в нем семантические признаки, а именно исконная сема страха, ужаса, развитый признак ‘необыкновенный, удивительный, поразительный’ (сравним универсальную для всех славянских языков модель: *удивительно интересный, необыкновенно умен, поразительно приятен* – русск., *neobyčejně se zajímat o knihu, nezvykle nadaný člověk* – чеш., *niezwykle interesujący film, niezwykle łatwo* – пол.) Соединение двух значений, а также наложение переносного значения у прилагательного ‘большой, интенсивный по степени проявления’ (*úžasně bohatství, úžasná moc, rychlost, radost*) явились производными по отношению к семантическому признаку интенсификатора у однокоренного наречия. Данный пример показывает, что формированию рассматриваемого значения у наречий может способствовать не один, а несколько значений, потенциально способных к подобным семантическим трансформациям, следовательно, в данном случае имеет место сразу несколько моделей формирования семы интенсификатора.

Похожим способом развивалась семантика чешского наречия *značně* и польского *znacznie*. Производящее прилагательное этимологически связывается с именем существительным *znak*, таким образом, его исконным значением является ‘обозначенный, хорошо заметный для глаза’. Это значение в словаре Й. Юнгмана фиксируется как архаичное: *Ba, již mech a svačou*

prsteny obalily mnohou lebkou, že je sotva značná tvému hledu (Jungman 1835–1839), к началу XX века оно полностью выходит из употребления. В польском языке данное значение сохраняется и характерно для разговорного стиля языка: значение прилагательного в сочетании *odgrywać znaczną rolę* словарем трактуется как ‘заметный’. В качестве основного семантического признака и в чешском, и польском языках развивается значение ‘большой, огромный’: *značná výška, značné rozměry* – чеш., *w znacznej mierze, znaczna część* – пол. Предпосылкой для изменения и трансформации исконного качественного значения однокоренного наречия послужили словосочетания, в семантике которых содержатся два представления: величины и наглядности одновременно: *značně stoupající ceny* – чеш., *znacznie się polepszyć, znacznie mniej* – пол.

Определенное значение в формировании разряда слов – интенсификаторов имела лексико-семантическая модель развития на базе положительного признака. В данном смысле интерес представляет трансформация семантики чешского наречия *hodně* и сопоставление с близкородственным польским *godnie*. Эти слова этимологически возводятся к общеславянскому корню *hod-*, исконным значением мотивирующего прилагательного было – ‘тот, который вовремя, в пору’, которое в последствии расширилось до ‘подходящий, годящийся’: *to se tam hodí, vhodný příklad*. Семантическое развитие прилагательного подробно рассматривается в работе чешского лингвиста В. Эртла. Исходя из выводов его исследования, в определенной речевой ситуации слово *hodně* ассоциируется с представлениями меры. Чешские сочетания *hodná mzda, hodný kus cesty* изначально, бесспорно, обозначали ‘подходящий, такой, какой нужно’. Одновременно на это значение накладывался семантический признак ‘большой, значительный’ (Ertl 1919, с. 140). В современном чешском языке это значение является основным наряду с ‘хороший, добрый’ (*hodný člověk*). В отличие от чешского языка современному польскому языку не известно употребление прилагательного в значении ‘большой’, его фиксирует лишь словарь А. Брюкнера, а вместе

с ним и употребление наречия *godno*, значение которого трактуется с помощью слова *sporo*, т.е. показатель большого неопределенного количества ‘много’. В современном польском языке прилагательное *godny* употребляется в значении ‘достойный, заслуживающий чего-либо’: *godny uwagi, zaufania, podziwu*, а также ‘почтенный, полный достоинства’: *godny człowiek*. Соответственно, в польском языке в результате семантических трансформаций не была развита база для формирования значения интенсификатора у однокоренного наречия, тогда как в чешском языке развитое прилагательным значение ‘большой’, согласно выше проиллюстрированной модели, является производным по отношению к семантическому признаку интенсификатора. Сравним, современные употребления польского и чешского наречий, пол.: *godnie przyjąć gości* – ‘достойно, подобающим образом’ (исконное значение восстановимо), *godnie się zachowywać* – ‘с достоинством’; чеш.: *hodně hloupý, hodně dlouho* – ‘очень’, выступает в функции стилистически нейтрального интенсификатора. Более того, чешское наречие способно выступать и в функции показателя большого неопределенного количества, т.е. исключительно в качестве количественного наречия: *hodně lidí, hodně peněz, měl hodně práce*.

По модели формирования значения интенсификатора на базе положительного семантического признака развивалась семантическая структура чешского наречия *pořádně* и польского *porządnie*. Семантический сдвиг, по мнению В. Эртла, произошел также в результате соединения значения ‘прилично, порядочно’ с представлениями о размере, величине. Так, например, сочетание *pořádně pracuje* означает, что ‘человек работает по распорядку, то есть как того требует порядок, рамки приличия, при этом возникает представление о том, что человек работает много’ (Ertl 1919, с. 141). Таким образом, как в чешском, так и польском языке подобный сдвиг в значении повлек за собой нейтрализацию исконного качественного значения, которое во многих контек-

стах современным носителем языка не восстанавливается: *je pořádně hloupý, porządnie duży kawał drogi*.

В заключение стоит рассмотреть лексико-семантическую модель формирования разряда наречий-интенсификаторов на базе качественного значения производящих прилагательных *скорый, быстрый, стремительный*. Наиболее ярким примером данного типа для всех славянских языков может служить польское наречие-интенсификатор *bardzo*, способное выступать как в количественном значении (*bardzo myśli, bardo pije*), так и в своем основном значении – показателя высокой степени (*bardzo pięknie, bardzo dużo, bardzo się cieszę*). Исконно это наречие восходит к качественному прилагательному со значением ‘быстрый, скорый, резкий’ (сравним русск. *борзой*, чеш. *brzo*, серб. *брзо*). До 16 в. данное наречие употреблялось в форме *barzo*, в последствии было вытеснено современной формой (Brückner 1957). Следы старой формы сохранились лишь в устойчивых сочетаниях типа *wsadzać na barzego, zsadzać z barzego (konia)*, в которых еще ощущается исконное значение древнего качественного значения. Для современного носителя языка мотивировка интенсификатора *bardzo* утрачена, о чем свидетельствуют такие словосочетания, как *bardzo powolny*.

Примеры наречий, развивших признак показателя высокой степени и меры по той же модели, что и польское *bardzo*, т.е. на базе качественного признака ‘быстро, резко’, находим в чешском языке. Речь идет, прежде всего, о наречии *prudce*, мотивированном качественным прилагательным *prudký* ‘очень быстрый, резкий, скорый’: *prudký pohyb, prudká jízda*. В качестве переносного значения развивается сема ‘сильный, мощный’: *prudce se rozvíjet, prudce chodit po pokoji, prudce stoupající ceny, prudce se obrátit*. Данное значение легко ассоциируется с представлениями о высокой степени и мере (ср.: *silně vysoký, moc dobrý*), следовательно, данное значение выступает в качестве производного по отношению к значению интенсификатора, которое в определенных контекстах нейтрализует исконное качественное значение: *prudce se*

*pohádat, prudce se leknout; Zatoužil prudce po vysvobození; Černo-
horci jsou i na nejbližší bratry prudce řevniví.*

Таким образом, некоторые, наиболее показательные параллели, проведенные в области формирования разряда наречий-интенсификаторов в польском и чешском языках, помогают получить представление о способах формирования данного разряда слов, выделить общие и частные черты в одной из областей экспрессивно-стилистического пласта лексики в близкородственных языках – тесно связанной с языковыми категориями количественности, оценки, экспрессивности.

Библиография

- Мурьянов М. Ф., *Сила (Понятие и слово)*, „Этимология. 1980” [Москва] 1982.
- Сергеева Е. Н., *Абсолютная степень интенсивности качества и ее выражение в английском языке*, [в:] *Проблемы лингвистического анализа*, Москва 1966.
- Сергеева Е. Н., *Степени интенсивности качества в английском языке. Автореферат дисс.*, Москва 1967.
- Brückner A., *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Warszawa 1957.
- Ertl V., *O výrazech zesilovacích, vzniklých otřením slov*, „Naše řeč” 1919, č. 3.
- Gebauer J., *Slovník staročeský*, Praha 1970.
- Jungman J., *Slovník česko-německý*, Praha 1835–1839.
- Holub J., *Stručný slovník etymologický*, Praha 1937.
- Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., *Słownik języka polskiego*, Warszawa 1900–1919.
- Linde S.B., *Słownik języka polskiego*, Lwów 1860.
- Máček V., *Etymologický slovník jazyka českého a slovenského*, Praha 1957.
- Mathesius V., *Zesílení a zdůraznění jako jevy jazykové*, [in:] V. Mathesius, *Čeština a obecný jazykopyt*, Praha 1947, s. 203–223.
- Slovník spisovného jazyka českého*, díl 18, Praha 1979.
- Slovník současného jazyka českého*, Praha 1971.
- Słownik języka polskiego*, red. W. Doroszewski, t. 110, Warszawa 1958–1968.
- Slovník polszczyzny XVI wieku*, Wrocław–Warszawa–Kraków 1958–1968.
- Škvorová D., *Strašně*, [in:] *Jazykové sloupky*, Praha 1991, s. 201.
- Zubaty J., *K výkladu některých přísloví, zvláště slovanských*, [in:] *Studie a články*, sv. 1., č. 1, Praha 1945.

Роза Х. ТУГУШЕВА

Санкт-Петербург

Коннотации растительной лексики как отражение картины мира (чешский лес)

В системе каждого языка находит отражение связь лексических единиц не только по линии их денотативных значений, но и по их коннотациям.

Систему коннотаций каждого языка можно соотнести с языковой картиной мира (ЯКМ), изучению которой в последнее время уделяется значительное внимание.

Представление о ЯКМ на сегодняшний день еще не устоялось в лингвистике полностью. Одни ученые понимают ЯКМ довольно широко, другие считают, что „не все в системе языка имеет отношение к картине мира, так как не все в языке направлено на отображение познавательных и ценностных концептов” (Радбиль 1995, с. 434). Следовательно, изучение лексики в рамках ЯКМ связывается с особенностями концепта, который определяется как „дискретная, содержательная единица коллективного сознания, отражающая предмет реального или идеального мира и хранимая в национальной памяти носителей языка в вербально обозначенном виде” (Бабушкин 1998, с. 12).

ЯКМ отражает главным образом не процесс называния человеком объектов реального мира, а процесс познания им объективной действительности через ословленные объекты. ЯКМ демонстрирует работу самого языка, показывает, как в языке происходит лексическая объективация духовного, т.е. того, что нельзя увидеть, услышать или потрогать руками. ЯКМ имеет дело, по выражению Арутюновой, с „образами языка, запечатленными в самом языке” (Арутюнова 2000, с. 7).

В ЯКМ слова входят преимущественно в своих фигуральных значениях, которые формируются, в частности, в результате метафорического переноса наименования с одного денотата на другой. Вторичная номинация служит одним из основных способов выражения аспектов духовного мировидения человека.

С развитием в слове переносного значения связано изменение его стилистической характеристики, которая отличается „свободной вариативностью и широкой комбинированностью, проявляющимися в дискурсе” (Яковлев 1991, с. 114). Стиль, по мнению Ф. Мико, это не только дифференцирующий, специфицирующий аспект текста и его ценности, но и цементирующий его фактор, что „позволяет поднять его до уровня содержания и рассматривать как глубинную концепцию того содержания, которая рождается вместе с ним” (Miko 1976, с. 22–23).

Глубинную основу высокого стиля, наряду с другими конституирующими его параметрами, составляет чувство восторга, патетики, приподнятости и пафоса, что в значительной степени присуще словам, в лексикографической практике до сегодняшнего дня именуемым книжными словами. Книжные слова относятся главным образом к сфере письменного языка, который и зародился у славян прежде всего для выражения веры, т.е. духовного содержания, которое сначала у них передавалось другим (старославянским) или вообще даже чужим (латинским) языком. Выражение чего-либо высокого или возвышенного у славян, таким образом, проходит путь от использования самостоятельного, но чужого языка до растворения в своем собственном литературном языке, где высокие слова выступают одним из основных средств эстетизации текста. „Патетическое слово и его образность, – пишет Бахтин, – родились и сформировались в далеком (от слова *даль*) образе и органически связаны с ценностно-иерархической категорией прошлого” (Бахтин 1975, с. 207). На связь выражения категории высокого с прошлым указывают также чешские стилисты, которые отмечают, что нормы, сформиро-

вавшиеся, например, в поэтическом языке, складывались на протяжении веков (Chloupek a kol. 1990, с. 240).

Формирование средств выражения высокого чувства, приподнятости духа происходит в языке каждого народа под воздействием того, что видят его носители вокруг себя. Это прежде всего – окружающая природа. „Живя в гармонии с окружающей природой, – отмечает исследователь Гусев, – народ-автор заимствует у нее наиболее значимые элементы в качестве образов и символов – средств создания художественной реальности” (Гусев 1995, с. 146).

В общественном духовном сознании чехов широко отражен, например, растительный мир окружающей их природы и прежде всего лес.

Леса во времена первого чешского хроникера Космы (1045–1125) покрывали большую часть чешской земли. Они простирались не только по пограничью, но заполняли собой также необъятные пространства внутри страны, так что для жилья людям оставались лишь более или менее обширные равнинные участки, отделенные друг от друга все теми же лесами (Třeštík 1975, с. 10).

Основным средством выражения понятия [ЛЕС] в современном чешском языке выступает слово *les* с одним значением ‘единый массив хвойных и лиственных деревьев’, переносным употреблением в значении ‘много’ и целым рядом устойчивых оборотов фразеологического и паремиологического характера, но ... лишенное каких-либо высоких коннотаций. В противоположность этому современное чешское слово *bor* является высоким наименованием леса вообще. В основном своем значении *bor* – это преимущественно сосновый лес, с чем согласуется и его форма, связанная с наименованием сосны – *borovice*. Однако кроме этого для каждого чеха в настоящее время *bor* – это не только сосновый лес или лес вообще, но и национальное богатство, неотделимое от их существования. В сознании носителей чешского языка слово *bor* сопряжено с возвышенным чувством, исходящим из высокой оценки леса в их жизни. Выбор

оценки субъектом, как считают исследователи, связан с определенной шкалой ценностей, принятой в данном обществе, и часто зависит от менталитета нации и отдельного человека (Миронова 1995, с. 344). Оценка находит отражение в соответствующем дискурсе. Закреплению в сознании чехов за словом *bor* признака высоты способствовало, по всей вероятности, употребление его в тексте гимна Чешской Республики, написанного в первой половине XIX в. их национальным писателем и поэтом Й.К. Тылом (1808–1856): *Voda hučí po lučinách, b o r y šumí po skalínách*, так как самый полный на сегодняшний день законченный исторический словарь чешского языка, составленный Й. Юнгманом, который выходил в 1835–1839 гг., еще не фиксирует высокой коннотации у слова *bor*.

В отличие от *bor*, которое в значении ‘сосновый лес’ функционирует и в общеупотребительном чешском языке, использование слова *luh* (чаще в форме множественного числа – *luhy*) в настоящее время ограничено специальными сферами: в двух значениях ‘луг’ и ‘край, земля, страна’ оно характеризуется как книжное, а в значении ‘лес на болотистой почве’ выступает как ботанический термин. В чешском языке, в отличие от русского (*луг*), существует также стилистически нейтральное наименование участка земли, покрытого травянистой растительностью – *louka*. Разные, как считают этимологи, по происхождению *luh* (от **lǫg* ‘низкое место’) и *louka* (от **lęk* ‘изгиб реки’) (М 341, 343) тем не менее в процессе исторического развития семантически сближались, чему способствовала прежде всего близость самих природных объектов, воспринимаемых взором человека, – водного течения и береговой суши при нем. Вместе с тем уже в древнечешский период, вероятно, намечается и стилистическая дифференциация между *luh* и *louka*, так как слово *luh* чаще, чем слово *louka* используется в переводах с латыни, которая была первым литературным языком у чехов. В чешских переводах наименование *luh* выступало эквивалентом слова *lucus*, которое в латинском языке обозначало священную рощу и могло использоваться

как поэтизм по отношению к лесу вообще (Д 603). Наметившаяся стилистическая особенность слова *luh*, по сравнению с *louka*, нашла отражение в самом древнем памятнике чешской письменности – *Далимиловой хронике*: *Ach, běda skutka mého, že jste vy pro mě v tej nůzi a jsú pro mne váši domové hustí lu z i* (ДХ 20). Увидевшая свет в конце XIII в., *Далимилова хроника* в настоящее время имеет то же значение для чехов, что *Слово о полку Игореве* для русских. Памятник проникнут высоким патриотическим духом чешского народа. На всем протяжении истории к нему обращали чехи свои надежды на спасение в минуты угрозы национального порабощения, вследствие чего *Далимилова хроника* сегодня изучается в каждой чешской школе.

Таким же высоким пафосом окрашено употребление слова *luh* в стихотворении чешского поэта В.Й. Сладека *Má vlast* (‘моя родина’): *Můj rodný kraj je česká zem. Můj domov – české lu h y. A kraj ten chovám v srdci svém, jak v světě žádný druhý*. Подобно *Далимиловой хронике*, это поэтическое произведение также носит хрестоматийный характер и откладывается в памяти каждого чеха со школы.

Наконец, классик чешской музыки Бедржих Сметана ввел слово *luh* в название одного из своих симфонических произведений – *Z českých lu h ů a hajů*, в котором он передал звуки родной природы, услышанные им в чешских лесах и рощах.

Таким образом, в общественном сознании чехов слово *luh* ассоциируется с понятием родины, отечества, которое наиболее ярко передается такими сочетаниями, как *české luhy* или *domáci luhy* для обозначения своей страны и наоборот, *cizí luhy* как ‘чужбина’. Помимо этого для слова *luh*, в отличие от *louka*, характерна его соотносительность с пространством, со сферой, где проявляются и раскрываются творческие духовные потенции человеческой личности. Данное переносное употребление слова *luh* реализуется в таких контекстах, как *luhy života*, *luhy poezie*, *literární luhy*, что сродни отчасти употреблению слова *нива* в русском языке.

По аналогии с *luh*, вероятно, возвышенная коннотация со временем распространилась также и на производное от *louka* – *lučina*, которое, наряду с *bor*, Й.К. Тыл выбрал для своего патристического текста, ставшего вербально-музыкальным символом его родины: *Voda hučí po lu č i n á c h*, *bory šumí po skalínách*, что служит также и подтверждением древнейшей смысловой близости *luh* и *louka*.

Чешское слово *hvozd* сегодня в прямом значении соотносится с густым лесом. Как высокое книжное наименование оно обозначает лес вообще. В отличие от *bor* или *luh*, *hvozd* не связано в национальной памяти чехов с каким-то определенным дискурсом. Тем не менее в сознании носителей чешского языка оно живет как стилистически приподнятое, книжное слово. Высокое чешское слово *hvozd* обозначает большой густой лес, навевающий ассоциации с длительным преодолением препятствий на пути по такому лесу, что само по себе уже достойно быть возвеличенным и воспетым. Вместе с тем стилистическая высота у слова *hvozd* могла появиться от тематической близости его с другими словами, имеющими по происхождению отношение к лесу.

Среди таких наименований в чешском языке выделяется прежде всего глагол *klestít*, обозначающий в своем исходном осмыслении ‘обрубать, обрезать ветки’. В этом основном первичном значении глагол *klestít* соотносится с поведением человека, проходящего сквозь густой лес и прокладывающего себе дорогу путем устранения с пути сучьев и ветвей. Перенос этого глагола из ‘лесной’ сферы в сферу общественной жизни способствовал появлению у глагола *klestít* значения ‘прокладывать путь, быть первопроходцем’, освященного высоким гражданским пафосом, например, *klestít cestu pokroku* ‘прокладывать путь прогрессу’.

Как отмечают Дж. Лакофф и М. Джонсон, ‘наши культурные ценности существуют не изолированно друг от друга, а образуют согласованную систему вместе с метафорическими понятиями’ (Lakoff, Johnson 1980, с. 67). Не исключено, что к лесу по своему происхождению имеет отношение также и другой современный

книжный чешский глагол – *razít* с той же прямой и переносной семантикой, что и у глагола *klestít*. Импульсом для прямого значения *razít* ‘прокладывать путь в лесу’ могло послужить существительное *ráz* в устаревшем в настоящее время значении ‘удар’, т.е. первоначально выражение *razít cestu* могло соотноситься с прокладыванием пути в лесу ударами топора. Сегодня для функционирования глагола *razít* характерно то же самое переносное употребление, что и для его синонима *klestít*, например, *razít cestu nové myšlenky* ‘пробивать дорогу новой идее’, *nový umělecký směr si razí cestu* ‘новое художественное направление пробивает себе дорогу’ (SSJČ 3, 25). Интересно отметить, что глагол *klestít* в представленном выше переносном употреблении еще не находит отражения в словаре Й. Юнгмана, точно так же, как и *razít*, раньше которого признак нового абстрактного значения обнаруживает причастная форма *ražený* в сочетании *ražená cesta* ‘проторенный путь’: *Máš cestu raženou, aby se na umění oddal. – Zabloudili jsme, když jsme se z ražené cesty uchýlili* (J 3, 803). Появление двух высоких слов для выражения абстрактного понятия прокладывания пути свидетельствует об актуальности для чешского народа идеи борьбы за национальное освобождение, волновавшей умы передовой чешской интеллигенции в середине XIX в., находившей в своем языке оригинальные средства для ее выражения.

Линия семантико-стилистического развития от темы леса к выражению идеи борьбы, отмеченная для глаголов *klestít* и *razít*, просматривается в чешском языке также у стилистически высокого прилагательного *trnitý* ‘тернистый’, например, *trnitá cesta* ‘тернистый путь’.

На связь с растительным миром с целью выражения понятий, соотносимых с духовной сферой, указывают в чешском языке и такие книжные наименования, как например, *haluz* ‘ветвь’, манифестируемое сочетаниями *haluz rodu* или *haluz národa*, *býlí* ‘сылье’ от *býl* ‘стебель’ или *býlí* ‘растение’, *třeskot* в сочетании, например, *třeskot zbraní* ‘звон оружия’, восходящее к звукоподра-

жательному *třesk*, в котором слышится и лесной треск, и хруст, ср. также *tříška* ‘репка’, *rozštěp* ‘раскол’ и др.

Таким образом, изучение прагматики и культурных функций слов, обозначающих природу, выявляет особенности организации языковой картины мира, которая показывает, как происходит приспособление лексикона к объективации духовного мира носителей определенного языка.

Библиография

- Арутюнова Н.Д., *Наивные размышления о наивной картине мира*, [в:] *Язык о языке*, под ред. Н.Д. Арутюновой, Москва 2000.
- Бабушкин А.П., *Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика*. Автореферат докторской диссертации, Воронеж 1998.
- Бахтин М.М., *Вопросы литературы и эстетики*, Москва 1975.
- Гусев Л.Ю., *Метафорическое наименование фольклорного героя как способ выражения эстетического идеала*, [в:] *Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы*, Москва 1995, т. 2.
- Миронова Н.Н., *Об изучении оценочного дискурса в современной лингвистике*, [в:] *Лингвистика на исходе...* т. 2.
- Радбиль Т.Б., *Языковая картина мира как коррелят классической дихотомии «язык–речь»*, [в:] *Лингвистика на исходе...*, т. 2.
- Яковлев С.В., *Взаимодействие когнитивного и стилистического компонентов в значении слова*, [в:] *Когнитивные аспекты лексики*, Тверь 1991.
- Chloupek J. a kol., *Stylistika češtiny*, SPN, Praha 1990.
- Lakoff G., Jonson M., *Metaphors we live by*, The University of Chicago Press, Chicago–London 1980.
- Miko F., *Štýlové konfrontácie*, Edícia Studia literaria, Bratislava 1976.

Сокращения

- Д Дворецкий И.Х., *Латинско-русский словарь*, Москва 1976.
- ДХ *Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila*. K vydání připravili akademik Bohuslav Havránek a doc. Jiří Daňhelka, ČSAV, Praha 1958.
- J Jungmann J. *Slovník česko-německý*, díl 1–5, Praha 1989.
- М Machek V. *Etymologický slovník jazyka českého*, Praha 1971.
- SSJČ *Slovník spisovného jazyka českého*, díl 1–4, Praha 1958–1971.

Тамара А. МИЛЮТИНА

Санкт-Петербург–Ополе

О словах-концептах *цыган*, *цыганский* в *Прощание с Матёрой* В. Распутина и их аналоги в переводе на чешский и польский язык

1.0. Анализ переводов произведений В. Распутина, несущих печать национального своеобразия, что подчеркивал сам прозаик в одном из интервью, говоря о том, что литература должна быть национальна в своем содержании, языке, характерах и проблематике¹, дает богатый материал для наблюдений в сопоставительном плане. Заявление прозаика призывает переводчика-интерпретатора внимательно относиться к информации концептуального свойства, т. е. видеть содержание произведения в преломлении через конкретное национальное сознание автора, учитывая его ценностные ориентации, нашедшие воплощение в слове. Предметом переводческой интерпретации нередко оказываются речевые элементы художественного текста, отражающие *аксиологию* носителей иного духовного опыта. И несмотря на то, что и само произведение, и его переводы относятся к 70–80 гг. минувшего века, обращение к повести, к которой применимо определение национально ориентированный текст, в рамках концептуально-культурологической направленности лингвистических исследований, характерных для последнего времени, представляется нам актуальным.

¹ См.: *Interview mit Valentin Rasputin von V. Bode*, „Die Veltbühne” 1978, Heft 23, S. 720. Цит. по: А.А. Дырдин, *Былинный источник силы (В. Распутин)*, [в:] *Творческие взгляды советских писателей*, Ленинград 1981, с. 281.

1.1. Для художественного мира повести *Прощание с Матёрой* (1976) характерно взаимодействие двух уровней: конкретно-бытового и условно-мифологического, включающего народно-поэтические, фольклорные и библейские мотивы. Писатель еще раз возвращается к теме *последнего срока* (ключевой для повести *Последний срок*, 1970), но здесь этот срок связан с последними месяцами жизни обитателей деревни-острова перед его затоплением в связи со строительством электростанции на Ангаре. По замыслу автора достаточно рядовое для российской действительности событие получает новое этико-философское осмысление, преломляясь через эсхатологическую библейскую модель конца света (ср. отсылки к библейским мотивам: *потоп*, *все сгинуло в кровешной тьме тумана* и др.). Прозаик прибегает и к глубинным фольклорным параллелям, передавая народные представления о *конечном сроке* с типичной картиной хаоса и разрушения *своего мира* под влиянием *чужих* сил, вторгшихся в его пределы.

В традиционной народно-христианской культуре этот период „безвременья” воссоздавался в ритуале ряжения², древняя обрядность которого воспринималась как бесовское, кощунственно-опасное действо³. Анализируя портретные характеристики персонажей повести, замечаем, что вполне „реалистические” по характеру зарисовки содержат ряд выразительных деталей с проекцией на вторую – ассоциативно-символический – план. Ключевые слова (ср. отсылку к типичным для святочных ряжений персонажам *черт*, *медведь*, *цыган*, *ворон* и др.), взятые в совокупности, выводят за рамки „реального” к оценочно-символическому его осмыслению. „Звериные” или „бесовские” уподобления „отмечают” всех отрицательных героев повести, являя „своего рода

² А. К. Байбурин, *Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов*, Санкт-Петербург 1993, с. 124, 128, 130, 133; М. М. Валенцова, Л.Н. Виноградова, *Ряжение*, [в:] *Славянская мифология. Энциклопедический словарь*, Москва 1995, с. 343–345.

³ В. Я. Пропп, *Русские аграрные праздники*, Ленинград 1963, с. 111.

парад представителей чужого мира”⁴. Эти „чужие” для обитателей деревни люди становятся земным, отнюдь не мистическим, а вполне реальным воплощением некоей „нечистой силы”, вызвавшей в жизни жителей острова перемены и потрясения, которые в конечном итоге привели к содеянному самими людьми „концу света” – гибели Матёры, модели мира в повести В. Распутина.

Можно говорить о своеобразном преломлении темы „бесовства”, актуальной в русской литературе с момента ее зарождения. В повести *Прощание с Матёрой* ее трактовка испытывает влияние не только традиций древнерусской литературы, отразившей во многом народное мироощущение, но, несомненно, и *Бесов* Ф. М. Достоевского, произведения, которое сибирский прозаик выделял из ряда многих других⁵. Как и для Достоевского, исходным для Распутина становится мотив потери нравственных критериев в обществе, вымывание из жизни *духовности*⁶.

1.2. Возникает вопрос, насколько приближен к читателю иной языковой культуры концептуально значимый авторский план с его ассоциативно-смысловой насыщенностью, характерной для русского языка, всегда ли читатель переводного произведения в полной мере осознает „свернутую” в виде понятийных, визуальных и прочих „прецедентных” образов информацию?

Интерпретация подобного типа произведений опирается на особое „правила чтения”. Автор использует способность единиц языка порождать ассоциативные и коннотативные значения в контексте предложенной автором модели мира, поэтому интерпретатору важно определить те „точки” – слова, в которых сходятся реальный и притчевый планы, происходит „переключение” ассоциативных линий. Обнаружение подобных слов затруд-

⁴ А. К. Байбурин, *Ритуал...*, с. 133.

⁵ В. Распутин, *Право писать*, „Радуга” 1980, № 2, с. 174.

⁶ Ср.: „Бесы” в романе Ф. М. Достоевского – это художественный образ, „означающий сбив и утрату нравственных ориентиров в мире, образ вражды к совести – культуре – жизни, образ смертельно опасной духовно-нравственной эпидемии” (Ю. Карякин, *Достоевский и канун XXI века*, Москва 1989, с. 234).

нено, поскольку единицы авторского лексикона, являясь знаками определенной историко-культурной парадигмы, выступают в своем чисто номинативном применении. Известно, что слова-концепты народной духовной культуры, обладая высокой степенью семиотичности, не составляют особого языкового пласта⁷, а словари далеко не всегда отражают своеобразный „духовный” потенциал слова с тем или иным набором ассоциаций, который был востребован писателем.

Далее важно разглядеть всю цепочку опорных слов и выражений, составляющих матрицу концептуально значимого для автора ассоциативно-символического плана. Поверхностный слой текста без выявления „сетки” глубинных координат не дает представления о ассоциативно-символической емкости выбранных автором единиц, которые:

1. воссоздают „предметные” явления внешнего мира во всей их реалистичности;
2. выступают в качестве „указателя-символа”, раскрывающегося в случае расшифровки предложенных автором правил организации образно-смыслового целого.

В рамках данной статьи, рассматривая приемы, к которым прибегает В. Распутин для воссоздания не просто *чужого*, но *чужого б е с о в с к о г о м и р а*, ставим задачу выявить ассоциативно-символический потенциал таких выбранных писателем, как *цыган*, *цыганский*, *цыганское солнце*, а также соотносимых с ними прилагательных *черный*⁸, *блажной*⁹ и др. в повестях В. Распутина.

⁷ С. Е. Никитина, *О концептуальном анализе в народной культуре*, [в:] *Логический анализ языка: Культурные концепты*, Москва 1991, с. 117–123.

⁸ Ср.: Т. А. Милютина, *Прилагательные »голый-кудрявый«, »черный-(красный)«, »темный« в портретных характеристиках повести В. Распутина »Последний срок«*, [в:] *Материалы научных трудов филологического факультета (Февральские чтения)*, Сыктывкар 1966, с. 118–124.

⁹ См.: Т. А. Милютина, *Библеизмы с корнем »благ-/блаж-« в повестях В. Распутина и их чешские аналоги*, [в:] *II Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова. Материалы международной*

2.0. Обратимся к схеме, по которой осуществляется концентрация признаков, создающая в конечном итоге ассоциативно-оценочный ореол слова-образа, отражающий народно-этическую систему ценностей.

2.1. *Оценочность* писателя выражена в портретных характеристиках. *Чужим* для коренных обитателей Матёры является „товарищ Жук”, представитель официальной власти, ответственный за „зону затопления”. Авторские проекции в описании внешности этого персонажа связаны прежде всего с потенциалом слов *цыган* и его производными, *цыганский*, имеющих религиозно-мифологическую мотивацию, не в полной степени осознаваемую современным языком¹⁰.

Традиционное народное сознание изображает представителей *нечистого света* (а) в облике иноверца (*турка*, *арапа*, *цыгана* и т.п.)¹¹.

Фрагмент 1: [...] незнакомый, конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.; Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело (с. 178/203/20); [мужики, ведущие очистку затопляемой территории – Т.М.] — протолкались к цыганистому (с. 177)¹².

научной конференции. Санкт-Петербург, 12–14 сентября 2000 г., Санкт-Петербург 2001, с. 52–55.

¹⁰ И. В. Кузнецова, *Религиозно-мифологический подтекст славянских устойчивых сравнений с этнонимами*, [в:] *Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole, 4–6 września 1996*, red. W. Chlebda i S. Kochman, Opole 1996, с. 40.

¹¹ А. К. Байбурин, *Ритуал...*, с. 132; М. М. Валенцова, Л.Н. Виноградова, *Ряжение...*, с. 344.

¹² В. Г. Распутин, *Последний срок. Прощание с Матёрой. Пожар. Повести*, Современник, Москва 1991. Перевод на чешский язык выполнен: Valentin Rasputin, *Poslední lhůta. Loučení, přel.* Dagmar Šlampová, Lidové nakladatelství, Praha 1981. Перевод на польский язык выполнен: Walentin Rasputin, *Pożegnanie z Matiorą*, przekł. Jerzy Litwiniuk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985. В скобках после цитаты здесь и далее приводятся страницы указанных изданий соответственно на русском, чешском или польском языках.

Опираясь на знаковый характер „устной традиционной культуры, для которой типично единое и общее поле значений”¹³, автор ставит их в ряд с прилагательным *черный*. Известно, что к устойчивым элементам в изображении *беса*, главного представителя отрицательного мира, традиционно относится (b) черно-красная („адская”) цветовая гамма, отсутствие или, наоборот, наличие, (c) обильного волосяного покрова¹⁴, взъерошенные волосы¹⁵ (как вариант – *буйные волнистые волосы*). Подмечено, что подобные детали использовал Л. Н. Толстой в изображении Анны Карениной¹⁶.

Накоплению ассоциативно-семантического потенциала способствует и то, что (d) фамилией персонажа выступает слово *жук*. По признаку внешней характеристики этноним в сравнительной конструкции *Как цыган черный* вполне заменим на *жук*: *Как жук черный* (‘обычно о смуглом и черноволосом человеке’)¹⁷. Однако у автора была возможность актуализировать отрицательный заряд лексемы, поскольку в говорах она имеет два переносных значения: не только ‘смуглый, черноволосый’, но и ‘пронрыливый, жуликоватый’ человек¹⁸.

¹³ А. К. Байбурун, *Ритуал...*, с. 11.

¹⁴ См.: Н. И. Толстой, *Из заметок по славянской демонологии 2. Каков облик дьявольский?*, [в:] *Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX вв.*, Москва 1976, с. 304; В. Я. Петрухин, *Чёрт*, [в:] *Славянская мифология. Энциклопедический словарь*, Москва 1995, с. 391.

¹⁵ В. П. Даркевич, *Народная культура средневековья. Светская и праздничная жизнь в искусстве XI-XVI вв.*, Наука, Москва 1988, с. 200.

¹⁶ А. Г. Градещкая, *Агиографические прообразы в «Анне Карениной» (жизния блудниц и любовниц и сюжетная линия главной героини романа)*, [в:] *ТОДРЛ, XLVIII*, Санкт-Петербург 1993, с. 433–445.

¹⁷ Л. А. Лебедева, *Устойчивые сравнения русского языка. Тематический словарь*, Краснодар 1998, с. 33.

¹⁸ Ю. И. Чайкина, *Проблемы реконструкции лексики старорусского языка (на местном ономастическом материале письменных источников XVI-XVII вв.)*, [в:] *История русского слова: проблемы номинации и семантики. Межвуз. сб. науч. тр.* Вологда 1991, с. 40.

Отметим, что в важных для авторской концепции фрагментах писатель прибегает к концентрации знаковых деталей, см. зарисовку, в которой отсылкой к *бесовской* парадигме выступают подчеркнутые обороты:

Фрагмент 2: Шляпа у Жука съехала на бок, открыв черные как смоль и кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим, – казалось вот-вот он не выдержит и по-цыгански с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех (с. 179).

Знаком *бесовского* в данном портрете выступают не только *чернота* и *кудрявость* (a, b) в сочетании с таким „чертовским” атрибутом, как *смола*. В качестве дополнительного штриха можно рассматривать и такую деталь, как приписываемую персонажу тип поведения (e), который традиционное народное сознание связывает с дьявольским началом. Представителей *иного мира* выдают резкие и быстрые движения, кривлянье и дергание, бурное проявление эмоций (в противовес степенности, сдержанной пластике движений, торжественности позы, величавому передвижению)¹⁹. *Скачущими в толпе* предстают перед блаженным, наделенным даром видеть духов „чувственными очами”, слуги князя зла в одном из эпизодов распространенного на Руси Жития Св. Нифонта²⁰. С представлением, что пляшут и хохочут бесы связан бытующий в русском языке оборот *как черт скакать* (*Прост.*), служащий в настоящее время неодобрительной оценкой²¹.

Как видим, для формирования необходимого аксиологического ореола вокруг ключевого слова-образа в портретных зарисов-

¹⁹ См.: А. К. Байбурун, А. Л. Топорков, *У истоков этикета: Этнографические очерки*, Ленинград 1990, с. 67.

²⁰ В. П. Даркевич, *Народная культура...*, с. 201.

²¹ Л. А. Лебедева, *Устойчивые...*, с. 98. Косвенно на эту черту поведения указывает отмечаемое Вл. Далем значение глагола *сатанеть* ‘танцевать, плясать’ с пометой „расколынь”. Показательно, что подобное восприятие характерно для старообрядческой – XIX в. (Вл. Даль), „деревенской” – в наше время (Ф. Абрамов – Л. А. Лебедева) аудитории.

ках задействован целый ряд прецедентных для русского языкового сознания сигналов (см. а, b, c, d, e).

2.2. В повести *Прощание с Матррой* оппозиция *свой* и *чужой* маркирует не только сферу человеческих отношений. „Своим”, „земным”, „человеческим” представляется обитателям деревни пространство Матёры, в то время как новый поселок за рекой, построенный для жителей затопленного острова, мыслится как „чужие” (и даже потусторонние) земли. И снова определенная роль в создании подобного оценочного восприятия отводится лексемам с корнесловом *-цыган-*.

Фрагмент 3: Для куриц, кстати, есть закуток, есть закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но пришли из поселкового совета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку. Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно возжались с конями. Из цыгана скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана – (с. 197).

На „реальном” плане повествования в рассуждениях главной героини видим прежде всего недоумение по поводу *абсурдности* мироустройства предлагаемого матёринцам места проживания. Если же рассматривать этот фрагмент в свете традиционной культуры в ряду других словоупотреблений писателя, прежде всего важной для повести оппозиции „живой : мертвый”²², то выявляется явная авторская оценочность данного описания с аллюзией на фольклорные представления о ‘том свете’, который „характеризуется принципиальной „вывернутостью” по отношению к миру посюстороннему”²³. Можно допустить, что автор в целом

²² См.: Т. А. Милютин, *О некоторых особенностях словоупотребления в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» в свете традиционной культуры*, „Rossica Olomucensia” XXXV [za rok 1996], 1998, s. 15–23.

²³ См.: Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, *Новые аспекты изучения культуры Древней Руси*, „Вопросы литературы” 1977, № 3, с. 156.

ряде употреблений стремится „актуализировать” в сознании читателя окказиональный, по сути, авторский, не регистрируемый словарями для лексемы *цыган* оттенок ‘относящийся к чужому’ → ‘иному’ → ‘потустороннему миру’.

2.3. Примером такого употребления можно считать фразеологизм *цыганское солнце* в одной из финальных сцен повести. Этот оборот входит в описание последней перед *потопом* ночи.

Фрагмент 4: Солнце зашло, в курятнике [бараке, в котором жил Богодул] быстро темнело... (с. 319/363/174).

Причесали Матеру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше, ушел свет, и, чудилось, все – никто не придет и свет не вернется, а их, прилипших к Матере, так и понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет последний час... (с. 320).

Скоро чуть посветлело, выявились стены, и Богодул доложил:

– Цыганское солнце, кур-рва! (с. 321).

Само по себе употребление оборота *цыганское солнце* не кажется необычным, – известен ряд схожих народных выражений для обозначения ночного светила – луны²⁴. Распутинский вариант соотносится с достаточно распространенным диалектным фразеологизмом *цыганское солнышко*, отмеченным И. А. Подюковым как пермский и сибирский²⁵. По мнению пермского исследователя, в эпитетах, „оценочно характеризующих Луну как солнце”, „активизируется идея светила тех, кто бродяжит, акти-

²⁴ В историко-этимологическом справочнике русской фразеологии выражение *цыганское (казачье) солнышко* зафиксировано как народное название луны: „Луна – спутник вольного казачества в набеге, бурлаков, цыган и казанских воров, известных в XIX в. своей дерзостью, – словом, луна – это второе солнце, только светящее холодным светом: ведь и по луне легко ориентироваться и во времени и в пространстве” (А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова, *Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник*, Фолио-Пресс, Санкт-Петербург 1998, с. 540–541).

²⁵ Н. А. Подюков, *Народная фразеология в зеркале народной культуры*, Пермь 1990, с. 28.

вен ночью”: *солнце мошенников, солнце пастухов, солнце дураков* (сюда можно отнести и выражение *волчье солнце*, представленное в языке „блатных”). При этом возможно также, считает ученый, проявление „насмешки” над географическими соседями, если исходить из „отсылки на стороны горизонта, где обычно появляется Луна”, ср.: *гамбургское солнце, шведское солнце*²⁶. В этот ряд встает и наше *цыганское солнышко*. Полагаем однако, что для В. Распутина в этом сочетании определяющим является, по-видимому, не столько география восхода луны, сколько возможность углубления смысловой перспективы оборота за счет обращения к более древнему пониманию *чужести*. Актуализация в контексте повести значения ‘этнически чужой’ как *относящийся к не своему, иному (потустороннему) миру* во фразеологическом обороте происходит однако вследствие обращения к мифологической составляющей второго компонента фразеологизма. Высвечивание признака *светило иного (загробного) мира* становится возможным благодаря присутствию в традиционном сознании восприятия полнолуния и лунного света как некоего зловещего знака смерти, небытия²⁷. В повести В. Распутина эта ассоциативная связь находит подтверждение в описании лунной ночи, передающем предчувствия Дарьи незадолго до затопления Матёры:

Фрагмент 5: Стало еще светлей и беспокойней – вышла в окно л у н а. ... Чтобы перебить в себе какое-то давящее, неизвестно с чего взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать – ...она... сошла по голбцу на пол и приблизилась к окну. Пол-ограды было залито ярким и полным лунным светом, деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде; пол-ограды лежало в тяжелой, сплошной тени от амбаров. „К а к в а р е н ы й”, – вздрогнув, подумала Дарья о л у н н о м с в е т е и отвернулась от окна. (с. 288).

Актуального для семантического поля смерти признак в приведенном контексте реализуется благодаря сравнению как *варе-*

ный – не живой, т. е. ‘относящийся к мертвому миру’. Однако в данном фрагменте передано только предчувствие, психическое состояние героини (дано в сравнении) накануне *затопы*, в то время как реплика *цыганское солнце* в устах Богодула можно воспринимать и как констатацию свершившегося – наступления конечного срока для героев повести.

2.3.1. Какие детали позволяют прочитывать фразеологизм *цыганское солнце* как знаковый, отнесающийся к сакральной парадигме? Для подобной интерпретации важно, (1) то, что реплика *цыганское солнце* произносит Богодул, *блажной*, как его называют в повести. Именно этому герою дано право быть вестником „судьбоносных” событий, именно он называет все „своими именами”, вскрывая настоящую, сакральную суть происходящего, поскольку ему дано *предчувствие или предвидение, свойственное Божьим людям* (Даль 4, стб. 1550). Неслучайно именно ему принадлежит б и б л е й с к о е определение того, что ожидает Матеру, – *потоп*, в то время как в языке официальных лиц или в нейтральном повествовании предстоящее событие именуется *затоплением*, а главная героиня Дарья, деревенская старуха, говорит о „затопе”.

Восстановлению необходимого ассоциативно-смыслового фона способствуют, в частности, такие художественные детали:

1. Человек „не от мира сего”: Богодул – пришлый, странник, что было одним из характерных черт юродивого. Ю. М. Лотман (ссылаясь в свою очередь на известное исследование А. М. Панченко) отмечает, что „среди русских юродивых значительное место занимали пришельцы с Запада...”. В этом факте важна особенность, подмеченная ученым, – юродивый – это *чужак, часто иностранец, всегда пришелец*, то есть человек *не от мира сего*²⁸. По повести, этот „приблудившийся из чужих краев старик ... выдавал себя за п о л я к а” (с. 165).

²⁶ Н. А. Подюков, *Народная фразеология...*, с. 29.

²⁷ Там же; См. также: С. М. Толстая, *Луна*, [в:] *Славянская мифология. Энциклопедический словарь*, Москва 1995, с. 245.

²⁸ См.: Ю. М. Лотман, *Культура и взрыв*, Издательская группа „Прогресс”, Москва 1992, с. 129–130.

2. Для этого персонажа характерна „перевернутость”: В общении Богодула с окружающими прослеживается типичное для юродивого поведение „наоборот”, когда „смирняя себя, святой” реализует „поведение худшего из грешников”. Это та мера праведности, которая „для внешнего наблюдателя” облечена в формы предельно неправильного поведения²⁹ (в повести находим ряд „знаковых” проявлений подобного неправильного поведения).

Кроме того, (2) оборот *цыганское солнце* включен в цепочку рассеянных по тексту повести знаковых элементов с двойной (т. е. не только событийно-бытовой, но и ассоциативно-символической) *отнесенностью*. Назовем лишь некоторые из них: *ушел свет – непроглядный свет → кромешная тьма*³⁰; *помчал в тар-тарары → понесет в темноте куда-то; преисподняя → слепо и исподно* и др. Все они входит в сеть дистанционных повторов, играющих важную роль в создании подтекста, создавая своеобразную „перекличку” перифраз, объединяющих схожие по смыслу фрагменты и сценки.

3.1. Мы рассмотрели лишь некоторые примеры конденсации символического содержания повести через ассоциативно-оценочный потенциал фольклорных образов и ситуаций. Отметим, что в переводах, выполненных Дагмар Шламповой (чешский язык) и Ежи Литвинюком (польский) событийно-бытовой ряд отображен полно, для данных фрагментов характерен практически дословный перевод (ср. ниже фрагменты 1–2). Это связано с тем, что в рассматриваемых славянских языках, по данным толковых и фразеологических словарей, совпадает *цветовой при-*

²⁹ См.: Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, *Новые аспекты...*, с. 163; Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, *«Смеховой мир» Древней Руси*, Ленинград 1976.

³⁰ О библеизме *кромешная тьма* см.: Т. А. Милютин, *Христианские реминисценции в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой» как проблема перевода*, [в:] *Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов*, Петрополис, Санкт-Петербург 1965, с. 127–136.

знак, служащий основой для развития обобщенно-символического значения в повести В. Распутина, ср.: *как цыган черный, как у цыгана черный – být (černý/snědý/vypadat jako cikán/cikánka)*³¹ в чешском языке или *czarny jak cygan* в польском³².

Фрагмент 1: [...] neznámý muž úřednického zevnějšku, v slamáku, s cikánským obličejem; – prodrali se k muži, připomínajícího cikána; Vypadal utrápeně a unaveně, snědý cikánský obličej mu zpopelavěl (с. 203).

[...] nieznamomy o wyglądzie urzędnika w słomianym kapeluszu i o cygańskiejtwarzy; przepchali się do owego Cygana; Wyglądał na znużonego i niedospałego, poszarzało mu czarne, cygańskie oblicze (с. 20).

Фрагмент 2: Klobouk mu sjel na stranu a odhalil černé kudrnaté vlasy, takže ještě víc připomínal cikána – zdálo se, že se užůž neovládne, po cikánsku z avýskne, poskočí a začne nalevo napravo repetit tou svou hatmatilkou a hned bude mít pokoj ode všech (с. 205).

Kapelusz zjechał mu na bok, odsłonił czarne kędzierzawe włosy, tak że podobieństwo do Cygana jeszcze się wzmogło – wydawało się, że już za chwilę nie wytrzyma i po cygańsku, z pohukiwaniem, podskoczy i zacznie na lewo i na prawo belkotać po swojemu, opędzając się od wszystkich naraz (с. 22).

Не является проблемным и перевод следующих фрагментов (3–4), если говорить о передаче чисто „информативного” содержания на „реальном” плане повествования.

Фрагмент 3: [...] u domu je něco jako kurník pro slepice, chlévek pro prasata, ale pro krávu nic, a také není místo, kam by se dal chlév postavit.

Říká se, že jeden cikán na to vyzrál a přece jenom chlév někde postavil. Přišli za ním z místního sovětu a řekli: to nejde, to musí pryč, tady není cikánský tábor, ale sídliště městského typu kde má být všechno podle jednotného plánu. Té histore s cikánem Darja moc nevěřila. Kde by cikán vzal krávu? Nikdy v životě se o tato dobytčata nezajímali, krávy dokonce ani nekradli, bylo to pod jejich důstojnost, odjakživa chovali koně. Z cikána byl kravař jako z kozla zahradník Ale povídalo se to zrovna o cikánovi (с. 225).

Dla kur zreszta jest kurniczek, jest chlewiek dla świni, ale nie ma obórki dla krowy

³¹ *Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání*, red. Fr. Čermák, J. Hronek, J. Machač, Academia, Praha 1983, с. 61–62.

³² S. Skorupka, *Słownik frazeologiczny języka polskiego*, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, t. 1, s. 149.

i miejsca, by ją postawić, też nie ma. Powiadają, że jakiś Cygan się uchytrył i gdzieś jednak sklecił obórkę, ale przyszły doń z rady osiedlowej i powiedzieli, że nie wolno, żeby uprzął, bo to nie obóz cygański, ale osiedle typu miejskiego, gdzie wszystko musi być pod sznurek. Daria niezbyt wierzyła w tego Cygana: skąd Cygan mógł mieć krowę? Od niepamięci nie zajmował się tym bydelkiem, brzydili się nawet kraść je, ustawicznie z końmi się wodzili. Z Cygana taki skotarek jak z wilka pastuch. Ale nie wiadomo dlaczego opowiadano właśnie o Cyganie (c. 42).

Нет затруднений и в переводе фразеологизма *цыганское солнце, оборот* передается свободным сочетанием, из контекста же понятно, что речь идет о луне.

Фрагмент 4: Slunce zapadlo, v kurníku se rychle setmělo. [...] Matora osiřela. Opustili ji poslední z těch, kdo budou žít dál, zmizelo světlo a zdálo se, že je všemu konec – nikdo už nepřijede, světlo se nevrátí, a oni, co přilnuli k Matoře, budou kamsi unášeni v tmách, budou unášeni, dokud jim všem neuhodí poslední hodinka. [...] Brzy tma trochu zešedla, stěny prosvětlely a Bohovan ohlásil:

– Cigánské slunko, kurrva (c. 364).

Słońce zaszło, w kurniku rychło się ściemniało [...]. Przyglądano Maiore. Zjechali z niej ostatni ludzie, którzy mają żyć dalej, znikło światło, i zdawało się, że to koniec – nikt nie przyjedzie i światło nie wróci, ich zasię, przyklejonych do Matori, tak to poniesie gdzieś w ciemności, aż za jednym razem dla wszystkich wybije ostatnia godzina. [...] Wkrótce nieco pojaśniało, wyłoniły się ściany i Bogoduł zameldował:

– Cygańskie słońce, Kurrwa! (c. 175).

Вместе с тем, трудно судить, насколько доступен чешскому и польскому читателю второй, символический план повести. Если для польского перевода характерно сохранение многих значимых для автора деталей, которые могли бы служить основой для символического осмысления повести, то перевод фрагмента 5 на чешский язык показывает, что аллюзию не «живой» (как *вареный*), т. е. «относящийся к „мертвому“ миру» переводчик просто не была замечает! Фраза «Как варены й», – *вздвогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна* по-чешски (в обратном переводе) передана как «*Все напрасно!*», – *подумала Дарья о лунном свете, вздрогнула и отвернулась от окна*. Мотивировку замены сравнения „как вареный“ на слово „напрасно“ в переводе Дагмар Шлапковой можно объяснить, по-видимо-

му, как оценку ситуации в целом, которую переводчик приписывает старухе, но в любом случае она не дает выхода на символический авторский план повествования.

Фрагмент 5: Noc prosvětla a zneklidněla ještě více – do okna zasvítíl měsíc... Darja dostala chut vstát, aby v sobě přehlušila tísnivý, bůhvídkud pramenící svíravý neklid – a přestože věděla, že to není k ničemu, tak silně po tom zatoužila, tak jí to připadalo nezbytné, že chvatně spustila nohy..., slezla po výstupku na podlahu a přistoupila k oknu. Půlka plotu byla zalita jasným a bledým měsícem, dřevěné lávky na zápraží se v něm koupaly jako ve vodě; půlka plotu ležela v černém, plném stínu sýpek. „To je ale naničováte“, pomyslela si Darja o měsíčním světle a zachvěla se a odvrátila od okna (c. 328).

Zrobiło się jeszcze jaśniej i niespokojniej – za oknem wzeszedł księżyc... Daria chcąc przerwać w sobie jakiś dławiący i niewiadomo skąd przychodzący duszny niepokój zapagnęła wstać – i tak się jej tego zachciało, na tyle zdało się to jej konieczne, aż wiedząc, że nie ma po co, mimo to śpiesznie ... zeszła po przegródce na podłogę i zbliżyła się do okna. Zagroda do połowy zalana była jaskrawym i obfitym światłem księżyca, drewniane poręczce ganku kąpały się w nim jak w wodzie; druga połowa leżała w ciężkim, gęstym cieniu stodoły. Daria drgnęła. „Niczym ugotowane” – pomyślała o świetle księżyca i odwróciła się od okna (c. 140).

3.2. Подчеркнем, что *негативная* оценочность в отношении *цыгана* на эксплицитном уровне в повести отсутствует. Общей негативной характеристикой в рассматриваемых языках является мотив *обмана*, ср. у Вл. Даля: *Цыгану без обману дня не прожить; Цыган раз на веку правду скажет, да и то покается*; оборот чешского языка *lhát jako cikán* (*врать/лгать как цыган*); невозможность доверять цыгану – обманет в польском: *nie wiadczy sik cygan cyganem* (клянется цыган цыганом) и ряд др. Небольшие расхождения, которые имеются в наборе ассоциативных оценочных признаков „этнического образа” *цыгана*: *цыган, цыганский (цыганистый), цыганищина*³³ и др. однокорневых слов в рассматриваемых славянских языках, не релевантны для повести В. Распутина. В чешском языке фиксируются обороты *грязный как цыган, оборванный как цыган; курит; крадет как цыган*. Если гово-

³³ См., напр., *Словарь современного русского литературного языка*, Ленинград 1965, т. 17, стб. 723–726.

речь о польском, то и здесь выделяется несколько иной набор признаков: беззаботная жизнь цыгана (*żyć jednym dnem – żyć z dnia na dzień*), и некоторые другие³⁴.

3.3. Мы сталкиваемся с одним из примеров *ограниченной переводимости*. По-видимому, можно говорить об явлении безэквивалентности на уровне отдельного значения или даже оттенка значения, когда речь идет смысловой наполняемости данных генетически родственных слов. Можно сделать осторожное предположение, что анализ словоупотребления лексемы в повести, в частности, фразеологизма *цыганское солнце*, указывает на более древние истоки этого оборота. Возможно, речь идет о закономерности, отмечаемой исследователями: в случае, когда фразеологическая единица, восходит к мифологическим представлениям, их забвение ведет к демотивации³⁵ исходного значения, к его переосмыслению. Возможно, автор опирается на оттенки, не всегда фиксируемые словарями, но сохраняемые языковым сознанием (в локальных языковых сообществах)? Поэтому полагаем, что полезна любая фиксация индивидуально-авторских употреблений, в частности, при обращении к литературе региональной. Сбор информации, в том числе и фиксирующей подобные индивидуально-авторские употребления, может быть полезной для пополнения копилки наших знаний, стать подспорьем при „распредмечивании” культурно-исторического национального опыта, аккумулированного в слове.

³⁴ См., в частности, библиографию в работе: I. Seifert, *Wizerunek Cygana w polskich przysłowiach i jego historyczno-kulturowe uwarunkowania*, „Rozprawy Komisji Językowej” XXVII, [Wrocław] 2001, s. 91–103; *Inny słownik języka polskiego*, red. Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 208.

³⁵ Н. М. Кабанова, *Роль мифологических представлений в создании устойчивых сравнений семантической группы ‘очень здоровый, крепкий’*, [в:] *Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego. Opole, 4–6 września 1996*, red. W. Chlebda i S. Kochman, Opole 1996, с. 71–72.

Александр В. САВЧЕНКО

Санкт-Петербург

Элементы „военного языка” в структуре художественного произведения (на материале романа Й. Шкворецкого *Танковый батальон*)

В центре данного исследования находится одна из разновидностей языка как системы и средства коммуникации – так называемая *армейская/военная речь* (или *военный язык – военяз*), т.е. особенности языкового выражения одной из социальных подсистем – армии.

1. О терминологической номинации понятия *военный язык*

Одной из отличительных особенностей института армии как закрытой социальной подсистемы является свойственный ей особый специфический язык. Специфика этого языка главным образом заключается в ёмкости, лаконичности формулировок, чёткости изложения содержания сообщения. Все перечисленные качества, которыми обладает этот язык, обуславливают определённые ситуации и правила его употребления, а также некоторые особенности мышления, логики и формы языкового выражения военных, тесно связанные с повседневной службой военнослужащих.

Специального унифицированного термина, который бы однозначно определял характер и суть данного явления, был бы закреплён за этим особым способом языкового выражения, пока не существует. Однако в работах российских и чешских филологов, касающихся вопросов языкового выражения в армии, можно встретить попытки терминологических номинаций рассматрива-

емой разновидности языка. Так, например, М. Т. Дьячок, рассматривая армию в качестве одной из социальных подсистем, использует термин *язык социальной подсистемы*. При этом он определяет язык данной подсистемы как *арго*. Данное терминологическое определение нам кажется не вполне адекватным, т.к. аргю в таком понимании – это лишь особый стиль узкопрофессионального общения между военнослужащими, „причём наиболее активно аргю используется в речевых актах, касающихся повседневного быта военнослужащих. Специфика солдатского быта, существующие в армейской среде традиции, своя система материальных и этических ценностей приводят к появлению лексики, характерной именно для солдатского аргю и обозначающей, как правило, бытовые реалии”¹. Таким образом, этот термин, скорее, относится к неформальной, „неуставной” форме общения внутри данной подсистемы и не может быть использован по отношению ко всей совокупности свойств, характеристик и областей употребления данной разновидности языка (например, язык Устава, команд, рапортов и других официальных военных документов). Б. Л. Бойко в свою очередь разделяет такое армейское аргю на *профессиональные жаргонизмы* и *профессиональные арготизмы*. При этом он пользуется обобщающим термином *военно-профессиональная речь*, представляющийся более удачным и вполне приемлемым для терминологической номинации рассматриваемого явления в целом².

С последним приведённым терминологическим обозначением близко перекликается термин, которым пользуется чешский исследователь П. Пеняз. Он предлагает термин *военная речь* (*vo-*

jenská mluva). Термином *военная речь* П. Пеняз обозначает „совокупность всех языковых средств, представляющих отклонение от литературной или стилистической нормы, однако, несмотря на это, в военной среде считающихся допустимыми или предписанными”³. Под этим понятием он рассматривает:

1. Литературный военный язык:

- а) письменный;
- б) разговорный;

2. Социальная военная речь:

- а) профессиональная речь;
- б) сленг (арготический сленг).

П. Пеняз также делает оговорку, что „профессиональная речь – это употребление терминов и терминологических сочетаний, связанных с определённой профессией или сферой деятельности (здесь армия), назначение которых – сделать высказывание лаконичным”. Под сленгом автор понимает „совокупность лексических и фразеологических средств, не имеющих терминологического характера и являющихся компонентом языковой игры, с помощью которой говорящий в определённой социальной среде (здесь в военной) специфицирует и по-особому выражает своё отношение к сообщаемому”⁴.

Говоря о различиях между письменным литературным военным языком и разговорной формой военного литературного языка (*psaný spisovný [vojenský] jazyk – hovorová podoba vojenského spisovného jazyka*), Пеняз пишет:

Письменная форма литературного языка выделяется престижной чертой официальности, которая, с одной стороны, достигается максимальным обезличиванием, с другой стороны, с помощью автоматизации⁵.

¹ М. Т. Дьячок, *Солдатский быт и солдатское аргю*, „Русистика” 1992, № 1, с. 41.

² Подробнее см.: Б. Л. Бойко, *Экспрессивная лексика русской военно-профессиональной речи*, [в:] *Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания: Информационные материалы и тезисы докладов международной конференции*, Москва 2001, с. 17–18.

³ P. Peňáz, *Poznámky k češtině ve vojenském prostředí*, „Naše řeč” LXX, 1987, č. 3, s. 131.

⁴ Там же, с. 132.

⁵ При этом Пеняз подчёркивает, что факт использования формы 1 л. ед. ч. в формулировках ряда военных документов не нарушает, а даже наоборот под-

Разговорная форма письменного военного языка, по мнению Пеняза:

[...] отличается меньшей степенью автоматизации и вербализации, что обусловлено тем, что большинство устных высказываний (в отличие от письменных) преследуют конкретную цель, а также большей синтаксической свободой (контаминации, анаколюты, зевгмы), что объясняется удивительно малой способностью говорящих ориентироваться в правильном синтаксическом и функциональном построении предложения⁶.

Принимая за основу вышеизложенные теоретические положения и термины, мы, тем не менее, предлагаем ввести термин *военный язык* или *язык военного обихода*, т.к. понятие *военная речь*, как нам кажется, больше подходит для описания лишь устной формы языка. Правомочность данного наименования можно обосновать и опираясь на работу другого чешского автора – Б. Когоута, использовавшего в своей статье термин *военный чешский язык* (*vojenská čeština*)⁷.

2. Официальный язык военного обихода в художественном тексте

Главным документом, регламентирующим правила и порядок несения воинской службы и содержащим конкретные речевые обороты, является Устав воинской службы. Язык этого Устава, для которого характерны ёмкость, лаконичность формулировок, чёткость изложения содержания сообщения, можно считать эталоном официального языка военного обихода. Шкворецкий иронически называет этот язык „řádový otčenáš” – „уставной Отче Наш”. Естественно, что в повседневном языке армейского

чёркивает эту черту обезличивания, т.к. „за этим 1 л. ед. ч. стоит не конкретная личность соответствующего командира, а целый ряд административных работников, защищённых его »ранжирным полномочиём»” (с. 136).

⁶ Там же, с. 138.

⁷ B. Kohout, *Příručka pro vojíny. Recenze*, „Naše řeč” XVIII, 1934, č. 9, s. 273–275.

обихода этот „эталон” существенно преобразуется, взаимодействуя с народной речью. Можно отметить несколько типов такого воздействия, где элементы официального языка употребляются в виде своеобразных цитат:

- 1) цитация положений Устава,
- 2) формулировки приказов, команд, рапорты и т.д.,
- 3) выдержки из других военных документов (сводки, донесения, отчёты и т.п.).

К области военного языка можно также отнести названия военной документации, устойчивые речевые обороты – штампы и клише, свойственные этому языку или рождённые под его влиянием, а также стилизации „под военный язык”. В данной статье мы ограничимся лишь анализом цитаций положений Устава и формулировок сообщений (в частности приказов, команд, донесений).

Основной функцией цитации фрагментов военного языка, как в любом произведении военной тематики, является погружение читателя в атмосферу повествования. Элементы армейского языка, на котором осуществляется официальное общение между военнослужащими, представлены в романе в виде выдержек из письменных военных документов и в форме устных сообщений, цитируемых в тексте. Основным составляющим такого рода документации являются различные военные понятия, устойчивые сочетания и обороты. Смысловое наполнение, содержание таких документов зависит от конкретной поставленной боевой задачи, например:

[kapitán] Došel na cestu a posvětil si baterkou na plánskonspekt: „23.30–4.00 osádky provedou okopové práce a zamaskování bojových vozidel, 4.30–4.50 pohotovost k vyražení k útoku, 4.50 zahájení dělostřelecké přípravy, 5.00 vyražení k útoku” (с. 16)⁸.

В данном отрывке в качестве единиц военязыка выступают устойчивые обороты, свойственные языку армейского дискурса:

⁸ Здесь и далее цит. по: J. Škvorecký, *Tankový prapor*, „Galaxie”, Praha 1990.

provádět okopové práce, zahájení dělostřelecké přípravy, vyrazení k útoku.

Многие положения, изложенные в Уставе, должны были выучиваться наизусть и цитироваться в случае необходимости. Пример такого цитирования обнаруживается в тексте романа Шкворецкого:

[kapitán] Mechanicky se dal do odříkávání řádového otčenáše: „Tankový prapor je v úplné bojové pohotovosti, jestliže všechna vozidla i jejich osádky jsou v úplné bojové pohotovosti, to znamená, jestliže všechny osádky jsou úplné a zdravé, jestliže v každém tanku je předepsaná zásoba střeliva, pohonných látek, mazadel a proviantu, jestliže zbraně jsou řádně zrektifikovány a ošetřovány” (с. 26).

Читате положения Устава предшествует ироническое пояснение действия и его характера: *mechanicky se dal do odříkávání*, уподобление самого основополагающего военного документа библеизму – *řádový otčenáš*.

К случаям цитирования Устава относятся также воспроизводимые военными рапорты и доклады, форма которых приводится непосредственно в Уставе. Вот образец рапорта военнослужащего, находящегося на боевом дежурстве, старшему по званию офицеру (цитату предваряет ироническое замечание автора о характере произнесения доклада – *se zupáckou rutinou starého mazáka*. Такими комментариями сопровождаются практически все вводимые автором цитации уставных положений):

[zaznělo] hulákané hlášení, pronášené se zupáckou rutinou starého mazáka: „Soudruhu kapitáne, po dobu mé služby u Sedmého tankového praporu se nic zvláštního nestalo. Setnina se nachází v přípravě na polední odpočinek. Dozorčí setniny četař Fürbach!” (с. 92).

При неизменной структуре данного сообщения (подчёркнутые компоненты), меняется лишь указание на звание конкретного военнослужащего: кому и кем отдаётся рапорт, место и характер личного состава, где дежурный несёт свою вахту.

Обязательным элементом уставных отношений между военнослужащими является доклад младшего по званию офицера

старшему, в котором первый сообщает об обстановке во вверенном ему подразделении и о том, чем данное подразделение занято в данный момент:

[poručík Hospodin] Zařval: „Pozor!” učinil dva dupaté kroky ke kapitánovi [...] a hlásil: „Soudruhu kapitáne, kandidáti ef ó při provádění zkoušek ef ó! Počet přítomných třicet pět. Výchovní náčelník, poručík Hospodin!” „Velte pohov”, pravil Matka [...] (с. 123).

Этот пример не просто иллюстрирует будничную жизнь военных, но и доносит до читателя некоторые реалии времени, в которое происходит действие. Речь идёт о характере деятельности, которым заняты солдаты и о котором докладывает их командир вышестоящему начальнику: проведение экзамена на значок Фучика (FO – Fučíkův odznak – ef ó, аналог значка ‘отличник боевой и политической подготовки’ в Советской Армии). С чисто лингвистической точки зрения, этот фрагмент содержит устойчивый оборот *provádění zkoušek* и военную должность-реалию *výchovní náčelník* (ср. с должностью в Советской Армии: *начальник по боевой и политической подготовке*).

Следующий элемент военного языка в романе представлен цитированием команд. Вот образец цитирования команды в соответствии с Уставом, касающейся правил выполнения определённых действий:

[kapitán Matka] Postavil se před tanky do pozoru a zařval hlasem alkoholického tutora: „Prrápore – pořadí první, druhá, třetí, čtvrtá rota – v sraz po osádkách nastoupit!” (с. 61).

Шкворецкий в данном случае подчёркивает и фонетическую особенность языкового выражения в армии – удвоенный (в речи – акцентированный) согласный *r*, *á* (в лит. яз. краткий *a*). Как и в ряде предыдущих примеров, автор вводит дополнительный комментарий, ироническую ремарку относительно характера звуковой подачи команды: *zařval hlasem alkoholického tutora*, что способствует усилению экспрессивности описания.

Приведённые выше примеры фрагментов официального языка военного обихода максимально приближают читателя к по-

вестованию, казённый военный язык способствует созданию эффекта незримого присутствия: читатель „слышит” команды, внимательно следит за дальнейшим развитием действия. Однако такие элементы играют у Шкворецкого не только (и не столько) роль языковой единицы-реалии военной службы, свойственной для любого произведения на тему армии. Даже те отрывки текста, которые были приведены в качестве образца цитирования непосредственно самих элементов этого языка, показывают, что их нужно рассматривать на фоне общего контекста данного эпизода. Так, в ряде приведённых выше примеров автор повествования предваряет, сопровождает или завершает цитирование определённого элемента военного языка ироническим комментарием. При этом ирония и комизм подчёркиваются не только комментариями Шкворецкого – во многих случаях порождению этого эффекта способствует изначальная нелепость ситуации. Ярчайшим примером такого рода является следующий эпизод романа (офицер во время несения боевого дежурства застигнут своим начальником с полуобнажённой женщиной):

Podporučík Malina [byl] v rozepjaté blůze a v kalhotách s otevřeným poklopem, bez čepice, bez revolveru, a poučil na Malinkatého ďábla poměnkové oči. [...] Potom se však podporučík Malina, očividně zpitomělý strachem, vzpřiml do latě a zvuchým hlasem se zahlásil: „Soudruhu majore, po dobu mé služby v posádkovém vězení se nic zvláštního nestalo. Velitel stráže, podporučík Malina” (с. 161).

Цитирование уставного доклада старшему по званию офицеру на общем фоне повествования является средством создания стилистического контраста.

Эффект иронии достигается Шкворецким и иными способами. В примере:

Tam [v učebnách praporu] měli z lavic a z latrín „odstranit vzhledem k nastávající prověrce bojové připravenosti politicky nevhodné nápisy” (с. 235).

приводится выдержка из военного документа – приказа. Ирония заложена в самом содержании, а сухой военный стиль (сочетания *odstranit nápisy*, *vzhledem k prověrce*) усиливает абсурдность отдаваемого распоряжения (*odstranit politicky nevhodné*

nápisy). С лексической точки зрения из данного примера можно вычленить русизмы-кальки *nastávající prověrka* и *bojová připravenost*. Рассмотренный пример можно отнести к „эпохальным”, отражающим реалии своего времени.

Противоположным по контекстуальной ситуации, но близким по экспрессии будет следующий фрагмент:

Nágy vydal nový povel: „K počtě zbraň!” Dvaáctýřicet vězňů vytáhlo na ten povel z rozepjatých poklopců pohlavní údy a přidrželo je do uličky. Četařka z povolání Marie Babinčáková [...] prošla hrdě až k toaletě. Většina údů zareagovala na její zadek v zelených tepláčkách. Ve dveřích ústranní četařka se otočila a řekla: „Pánové, můžete si dát k noze zbraň” (с. 150).

Здесь ключевым моментом комизма является противопоставление команд: *K počtě zbraň!* и *K noze zbraň!*⁹ В первом случае мужчины используют команду как шутку, желая посмеяться над (единственной) присутствующей среди них женщиной. В ответной фразе героиня насмехается над их „мужским достоинством”. При этом главный смыслообразующий компонент этих команд – слово *zbraň* (*оружие*) в обоих случаях выступает в качестве своеобразного эвфемизма: под ним в контексте подразумевается мужской детородный орган. На лексическом уровне также возникает некое „сочетание несочетаемого”: с уставным штампом сочетается вежливая форма обращения *pánové*, характерная для повседневной коммуникации вне пределов армии.

С точки зрения иронической доминанты и создания различных стилистических контрастов в определённых контекстах можно рассматривать так называемую „стереотипность военного мышления”, т.е., с одной стороны, невольные аналогии с различными положениями Устава, возникающие в сознании военных в определённых ситуациях, с другой стороны, произвольное (а в некоторых случаях умышленное) подражание стилю уставного языка военного обихода в устной речи.

⁹ Функциональным эквивалентом в русском языке могут служить команды: *Оружие на караул!* и *[оружие] К ноге!*

В ряде случаев цитаты различных положений из военных документов демонстрируют то, какой отпечаток накладывает на сознание военнослужащих изучение такого типа специальной военной литературы. Каждый солдат обязан знать и в случае необходимости чётко изложить определённое положение Устава. Тщательная проработка подобных текстов, заучивание и доведение до автоматизма при устном воспроизведении определённых положений и формулировок, содержащихся в этих документах, приводят к так называемой „автоматизации” или „алгоритмизации” сознания военнослужащего. Под этими терминами подразумевается своего рода стереотип, когда определённо складывающаяся ситуация способствует воссозданию в его памяти той или иной формулировки, которая бы соответствовала данной ситуации.

Введение в текст примеров такой „клишированности мышления” военных Шкворецкий использует в качестве ещё одного средства, создающего в определённом контексте стилистический контраст, эмоциональное и смысловое напряжение. Приведём пример:

[poručík] Už si v duchu oddech, když se odněkud z pozadí ozval chraptivý hlas: „Je polední vodpočinek!” prvním impulsem poručíka Prouzy bylo zjistit, kdo to řekl. Rozhodně to zjistit měl: byl to přečin mluvení v přítomnosti důstojníka bez jeho svolení (с. 83).

Определённое допущенное подчинёнными нарушение вызывает в сознании офицера цитату из соответствующего документа, определяющую характер данного нарушения. В своей фразе-сообщении о предписанном по Уставу роде деятельности подразделения в определённый момент времени (полуденный отдых) солдат использует словоформу *vodpočinek* с начальным протетическим *v-*, что свойственно обиходно-разговорному чешскому языку (*obecná čeština*); этот элемент „снижения” стиля дополнительно подчёркивает пренебрежение, негативное отношение солдата к офицеру.

Таким образом, различные элементы официального языка военного обихода, цитируемые Шкворецким в романе, играют роль не только неотъемлемого художественно-изобразительного средства, являющегося одним из главных текстообразующих элементов в произведениях, посвящённых военной теме, но и особым экспрессивно-выразительным средством, способствующим расширению смысловых границ текста. Такие элементы на протяжении всего текста подвергаются ироническому обыгрыванию разной степени экспрессивности. Это обыгрывание происходит, главным образом, благодаря авторским комментариям, которыми Шкворецкий сопровождает эпизоды, содержащие элементы военного языка. Суть этих комментариев, как правило, резко контрастирует с контекстом, содержащим единицы языка официального общения военных, из-за чего эффект иронии многократно увеличивается. Подобные иронические замечания, сопровождающие „сухие” по своему стилю выдержки Устава, в сочетании с которыми они создают яркие смысловые контрасты, являются особым приёмом Шкворецкого, отличительной чертой его языка и стиля.

Другим способом обыгрывания является несоответствие между вводимой цитатой и контекстуальным фоном действия. Это несоответствие представляет собой стилистический контраст между разными текстообразующими элементами данного отрывка, контраст между формой сообщения и его содержанием. В некоторых случаях ирония изначально закладывается самим героем как ответ на явную нелепость ситуации, в которой он оказывается.

Использование элементов официального языка военного обихода как одного из средств создания иронии имеет у Шкворецкого явную интертекстуальную соотнесённость. Традицию использовать такие элементы в качестве экспрессивно-выразительного средства заложил в чешской литературе Я. Гашек в своём романе *Похождения храброго солдата Швейка*. Шкворецкий, по сути, перенимает этот приём у Гашека, развивает его, исполь-

зуя разнообразные и разнородные по характеру способы обыгрывания подобных элементов в зависимости от контекста. Как и Гашек, Шкворецкий „компенсирует” однообразие и стилистическую „сухость” языка военных команд и сообщений разнообразием ситуаций, в большинстве своём изначально комических, где такие элементы способны создавать неожиданные коллизии, усиливающие комический эффект. Вместе с приёмом обыгрывания военных команд в определённом контексте, Шкворецкий, вслед за Гашеком, обыгрывает и сами команды: стилистически (подражание военному языку) и фонетически (фонетические трансформации, переданные на письме графически).

Шкворецкому, на наш взгляд, удалось в полной мере использовать синтаксические, лексические и другие особенности стиля и содержания различных элементов официального военного языка для создания в повествовании атмосферы аутентичности повествования, погружения читателя в атмосферу происходящего, при котором даже человек, не знакомый или малознакомый с реалиями армейской жизни, сможет составить представление об их характере. Вместе с тем, эти же элементы являются средством тонкого, порой едва уловимого юмора, и, взаимодействуя с остальным контекстом, приобретают яркий оценочный характер, способны вызывать улыбку, а зачастую смех читателя.

Исследование механизма функционирования единиц армейского языка может, по нашему мнению, способствовать более глубокому пониманию соответствующих процессов и в общенастной речи.

Татьяна Е. АНИКИНА

Михаил Б. ШУЛИН

Санкт-Петербург

Чешско-русский толковый словарь языка писателя

Одним из наиболее продуктивных направлений петербургской богемистики является лексикографическая деятельность. Более 40 лет назад на филологическом факультете по инициативе профессора Б. А. Ларина был создан Межкафедральный словарный кабинет, ныне носящий его имя. Буквально с первых дней существования Межкафедрального словарного кабинета писательская, в том числе двуязычная писательская лексикография стала одним из ведущих направлений его деятельности. В 1990 году был завершён выпуск *Словаря автобиографической трилогии* Максима Горького (*Детство, В людях, Мои университеты*)¹.

Работа над двуязычным толковым словарем языка писателя является относительно новой и многообещающей научно-практической областью, так как словари языка писателя в большинстве случаев одноязычны, то есть рассчитаны на читателей, хорошо знающих язык словаря, или же на читателей, для которых данный язык является родным. Исключение составляют словари к текстам древнейшего периода, когда система языка оригинала настолько отличается от современного, что требуется отдельное толкование ряда слов древнего памятника.

¹ Идея Б. А. Ларина состояла в создании полного горьковского словаря, который являлся бы по своей структуре серией лексикографических трудов, посвященных отдельным крупным произведениям писателя. *Словарь автобиографической трилогии Горького* – первая часть этого замысла.

В основе двуязычного толкового словаря (или переводного объяснительного) лежат идеи выдающегося отечественного филолога академика Льва Владимировича Щербы, который писал:

Радикальным решением вопроса [усовершенствования двуязычной лексикографии – М.Ш.] явилось бы, по-моему [...] создание толковых иностранных словарей на родном языке учащихся, где, конечно, могли бы фигурировать и переводы слов во всех тех случаях, когда это упрощает толкование и нисколько не вредит познанию настоящей природы иностранного слова... Но этот тип словаря надо еще выработать [...]².

Сам Л.В. Щерба, к сожалению, эту идею не осуществил. Он писал:

Поскольку это моя идея и поскольку я давно ясно вижу пути ее осуществления, я должен был бы взять на себя почин в этом деле. К сожалению, другие, не менее неотложные научные задачи мешают мне пока приступить к нему³.

Указанная идея Л.В. Щербы была подхвачена и стала реализовываться профессором Борисом Александровичем Лариным в Межкафедральном словарном кабинете на филологическом факультете Ленинградского–Санкт-Петербургского университета. Проблема отбора материала была решена таким образом, что двуязычные толковые словари языка писателя стали создаваться на материале отдельных произведений иноязычных писателей. Так, в 60-ые годы в Межкафедральном словарном кабинете была начата работа по созданию ряда словарей языка писателя, в том числе чешско-русского объяснительного (толкового) словаря трилогии Марии Пуймановой *Люди на перепутье*, *Игра с огнем* и *Жизнь против смерти*. Руководитель – профессор Лилич Галина Алексеевна. В составлении словаря трилогии М. Пуймановой участвуют и участвовали Л. А. Атучина, Т. Е. Аникина (Бухаркина), Н. К. Жакова, Е. И. Капустина, З. Леоновичова, Г. А. Ли-

² Л. В. Щерба, *Языковая система и речевая деятельность*, Ленинград 1974, с. 301.

³ Там же.

лич, В. М. Мокиенко, Н. Перглова, Й. Райнох, В. И. Супрун, О. И. Трофимкина, Р. Х. Тугушева, В. А. Чижова, М. Б. Шулин и другие.

Характеризуя значение и место в отечественной лексикографии двуязычного толкового (объяснительного) словаря трилогии Марии Пуймановой, важно отметить следующее:

Во-первых, являясь словарем речи, чешско-русский словарь языка писателя дает ценные сведения о чешском общелитературном языке, поскольку в речевой системе писателя происходит, во-первых, отражение литературного языка определенной эпохи (Первой республики и времени Второй Мировой войны), а во-вторых реализуются семантико-стилистические, словообразовательные и другие возможности общелитературной языковой системы.

Во-вторых, опыт составления такого словаря даст возможность объективных суждений о роли данного писателя в развитии чешского общелитературного языка в целом, кроме того, такой словарь будет иметь огромное значение для исследователей его творчества.

В-третьих, такой словарь поможет переводчикам с чешского языка, а также учащимся лучше понять и усвоить особенности чешской лексической системы в сравнении с русской.

Создание двуязычных толковых словарей языка писателя опирается на принципы составления словаря А.М. Горького, которые были разработаны профессором Борисом Александровичем Лариным и профессором Людмилой Степановной Ковтун. „Цель полного горьковского словаря, – говорится в инструкции объяснительного словаря к автобиографической трилогии Горького, – описание семантико-стилистической системы писателя путем фронтального анализа авторского словоупотребления”⁴. Таким образом, словарь трилогии является полным словарем литературного памятника.

⁴ *Словарь автобиографической трилогии М. Горького*, вып. I, с. 6.

Полнота описания – основной принцип как *Словаря автобиографической трилогии А.М. Горького*, так и двуязычных словарей языка писателя – определяется по следующим параметрам:

1. По словнику, то есть по составу заглавных слов. В словарь включаются все слова, употребленные в описываемом тексте, как знаменательные, так и служебные.

2. По полноте разработки значений и употреблений слов. Семантическая разработка слова занимает центральное место, так как в нем – сущность и специфика всей работы. В духе принципа Ларина, семантическая разработка имеет здесь не обобщающий характер, как в традиционных переводных словарях, а конкретизирующий. Большое внимание уделяется описанию контекстуальных оттенков значения, то есть приращений смысла, возникающих у слова при соединении с другими словами. В словаре выделяются и описываются все типы фразеологических единиц, которые разграничены по степени лексико-семантической спаянности слов, а так же все виды образной реализации слова.

3. По полноте цитации. Семантическая характеристика слова устанавливается путем анализа общего целостного смысла всей фразы, а зачастую и более широкого контекста. Объем иллюстрирующей цитаты колеблется от минимального, законченного в семантическом и синтаксическом отношении целого (иногда это может быть даже часть предложения) до отрывка текста, состоящего из нескольких фраз.

4. По полноте грамматической и стилистической квалификации. Грамматическая характеристика предельно лаконична, она сводится к указанию на грамматическую категорию слова; однако обязательным является выделение тех грамматических особенностей, которыми сопровождаются семантические сдвиги.

Стилистическая квалификация слова раскрывается также с помощью лексикографических знаков и помет⁵.

При анализе слов сложной задачей является не только разработка оттенков значения, возникающих при соединении с другими словами, но и общеупотребительных слов, поскольку здесь есть возможность упустить такие детали, которые в совокупности и определяют главное в стиле языка писателя. Поэтому и важна верная цитация материала. Определение, не искажая

⁵ Там же, с. 9.

существующее в языке значение, должно устранить посторонние для словоупотреблений признаки, а также помочь детально описать семантику слова.

Одной из существенных особенностей является сочетание толкования значения слова с его русским соответствием, если таковое существует. И в Словаре Горького, и в чешско-русском толковом словаре применяются все виды определения значений, принятые в толковых словарях:

1. Описательные: *recepce* ‘торжественный прием, банкет’,
2. Синонимические: *perfidní* ‘лицемерный, низкий, подлый’,
3. Соотносительные: *reklamní* ‘прил. *reklama*’.

Отсутствие русского соответствия в определении отдельных значений многозначного слова свидетельствует о несовпадении смысловых структур описываемого и русского слова.

В чешско-русском толковом словаре языка писателя описываются все виды фразеологических единиц, разграниченные по степени лексико-семантической спаянности компонентов.

Выделяют 3 основных вида, каждый из которых имеет свое обозначение, аналогичное принятому в *Словаре автобиографической трилогии М. Горького*.

1. Устойчивые и семантически связанные сочетания с прямым значением составляющих их компонентов обозначаются знаком >:
> *Lámač rekordů*. ?от, кто постоянно превышает достигнутые результаты, побивает рекорды.
Авторские сочетания такого рода выделяются знаком L:
L *Roentgenovat kapsy*. Определять, сколько денег в кармане.
2. Сочетания слов с метафорическим значением обозначаются знаком Δ:
Δ *Beit (být) v režži*. Быть, оказаться в трудном, безвыходном положении.
3. Идиомы обозначаются знаком ◇:
◇ *Polýkat andělíčky*. Тонуть, захлебываться. (Букв.: глотать ангелочков).

Если сочетание выделено и сразу подтверждено цитатой (без определения), то это – устойчивая конструкция, а значение его полностью совпадает с тем, при котором оно фиксируется.

В авторском словаре большую роль играют образные употребления слов. Для таких случаев обозначен соответствующий круг специальных лексикографических помет: в образном сравнении, в образном контексте, в сравн., олицетв. и ряд других.

Словарная статья строится по принципу развития образа, характерного для данного автора; такое развитие идет от прямого значения к сравнению и далее к метафоре, к специфическому авторскому значению слова, в котором проявляется авторское видение мира.

В словаре языка писателя фиксируется вся лексика произведения, и ряд слов может быть непонятен читателю. Стиль языка писателя, как отмечал А.В. Федоров, вписан в контекст эпохи⁶. Выявление особых, специфических признаков этого контекста и составляет задачу энциклопедических элементов в словаре языка писателя.

Особого подхода требует толкование собственных имен в двуязычных словарях языка писателя. В нашем случае существует два разряда имен собственных:

1. Реально-исторические названия и имена.
2. Вымышленные обозначения – имена героев, названия учреждений, периодических изданий и т.п.

Особо рассматриваются и снабжаются соответствующими пояснениями говорящие фамилии и названия, обладающие двуплановостью.

Грамматическая характеристика слова в словаре языка писателя сведена к минимуму. Слово приводится в исходной форме с указанием на его грамматическую категорию.

Ресерт, м.

⁶ Федоров А.В. *Перевод как отражение стиля языка писателя*, [в:] *Вопросы стилистики*, вып. 5, Саратов 1972, с.103.

Roentgenovat, сов.

Pokrokový, á, é.

При оформлении цитаты приняты следующие обозначения:

1. Если приводимая цитата – целиком прямая речь, то в конце цитаты указывается в круглых скобках, кому принадлежат ее слова.
2. Если в цитате нет указания на действующее лицо, о котором идет речь, то дается соответствующее пояснение в квадратных скобках.
3. Если в цитате встречаются местоимения, то они также раскрываются в квадратных скобках.

После каждой иллюстрирующей цитаты стоит обозначение ее места в тексте – буквенный индекс, обозначающий часть трилогии и номер страницы, на которой зафиксирована цитата, после него. Это облегчит для пользователя словаря нахождение и рассмотрение слова в более широком контексте. Буквенное обозначение для каждой части трилогии принято следующее:

L. – *Lidé na křižovatce* – *Люди на перепутье*.

H. – *Hra s ohněm* – *Игра с огнем*.

Ž. – *Život proti smrti* – *Жизнь против смерти*.

Несмотря на то, что работа над чешско-русским толковым словарем языка писателя была приостановлена, в настоящий момент она успешно возобновлена. Создана группа по составлению словарных статей, в активную работу включились студенты-богемисты. Для студентов, принимающих участие в создании словаря, открывается возможность, прослушав курс лекций, получить дополнительную специализацию *Лексикограф*. Регулярно проводятся заседания авторов-составителей словаря, где обсуждаются словарные статьи и теоретические вопросы, возникающие в процессе разработки.

Работа по составлению чешско-русского толкового словаря языка писателя, будучи задумана как работа во многом экспериментальная, превратилась в развивающееся научное направление.

ние. Созданы словоуказатель и инструкция к словарю трилогии, составлены словарные статьи на ряд букв. Параллельно с созданием словарных статей происходит теоретическое осмысление накопленного материала: вышла в свет монография *Очерки лексикографии языка писателя. Двухязычные словари* и ряд статей, по теме словаря защищены диссертация и дипломные работы, делаются доклады на различных научных конференциях.

Готовится к изданию первый выпуск словаря.

Марина Ю. КОТОВА

Санкт-Петербург

Паремиологический минимум русского языка в сопоставлении с чешским языком

Проблематика паремиологического минимума разрабатывается в паремиологии сравнительно недавно – с 60-х годов XX века. Понятие паремиологического минимума было введено проф. Г. Л. Пермяковым в его теоретических трудах и воплощено им в 70-е годы изданием русского паремиологического минимума (500 наиболее употребительных пословиц и афоризмов русского языка).

Г. Л. Пермяков высказывал идею об интернациональности в целом паремиологического минимума разных языков и о специфичности каждого отдельного паремиологического минимума, которая проявится при совмещении нескольких паремиологических минимумов. До конца 90-х годов XX века такое исследование было невозможно в силу отсутствия паремиологических минимумов других языков.

В 1997 году были опубликованы материалы паремиологов Д. Биттнеровой и Ф. Шиндлера – 5738 чешских пословиц (включая варианты), выявленных по методике, основанной на методе Г. Л. Пермякова, которые представляют собой фреквентные в современном чешском языке пословицы и афоризмы. Список имеет ранговый характер и начинается пословицами, которые были указаны девятнадцатью информантами (106 единиц), затем восемнадцатью информантами (123 единицы) и так далее – до группы пословиц, указанных только одним информантом (от номера 3846 до номера 5738).

С 90-х годов XX века на кафедре славянской филологии СПбГУ ведется работа по сбору материалов для паремиологических минимумов славянских языков, часть из них была опубликована издательством СПбГУ в 2000 году в *Русско-славянском словаре пословиц с английскими соответствиями* М. Ю. Котовой под редакцией проф. П. А. Дмитриева. В данный словарь вошло 5289 пословиц на девяти языках: 500 русских, 652 белорусских, 628 болгарских, 465 польских, 670 сербских, 568 словацких, 826 украинских, 508 чешских, 472 английских. При подборе соответствий к русским пословицам предпочтение отдавалось фреквентным пословицам, которые выявлялись авторами по методике, описанной в предисловии к словарю. Списки иностранных пословиц, представленных в словаре, служат в настоящее время основой для уточнения общей части паремиологического минимума указанных языков.

Попытаемся здесь определить общее и специфичное при сопоставлении паремиологического минимума русского языка с чешским (на материале списков пословиц Г. Л. Пермякова, Д. Биттнеровой и Ф. Шиндлера и М. Ю. Котовой).

Сопоставление полных русско-чешских фреквентных параллелей на фоне фреквентных пословиц других языков показывает, что количество русских пословиц, имеющих полные (то есть совпадающие по компонентному составу и семантике) фреквентные параллели во всех рассматриваемых славянских языках и в английском языке, очень невелико – всего две русские пословицы, входящие в паремиологический минимум русского языка:

- 1) Лучше поздно, чем никогда – белорус. *Лепш пазна, чым ніколі*; болг. *По-добре късно, отколкото никога*; пол. *Lepiej późno, niż wcale*; серб. *Боље икад него никад*; словац. *Lepšie neskoro, ako nikdy*; укр. *Краще пізно, ніж ніколи*; чеш. *Lépe pozdě než nikdy*; англ. *Better late than never*;
- 2) Не все то золото, что блестит – белорус. *Не усе тое золата, што свеціць*; болг. *Не всичко, което лъщи, е злато*; пол. *Nie wszystko złoto, co się świeci*; серб. *Hu je zlato sve, што сјаја*;

словац. *Nie je všetko zlato, čo sa blyští*; укр. *Не все те золото, що блищить*; чеш. *Není všechno zlato, co se třpytí*; англ. *All that glitters is not gold*.

Здесь при сопоставлении русского и чешского паремиологического минимумов рассмотрим не только полностью совпадающие по компонентному составу употребительные русские и чешские поговорки, но и поговорки, незначительно или существенно отличающиеся по компонентному составу, вплоть до поговорок, основанных на разных образах.

Отобрав для анализа первые 500 поговорок из списка Д. Биттнеровой – Ф. Шиндлера (далее – БШ), а также располагая нашим списком чешских поговорок из русско-славянского словаря пословиц с английскими соответствиями (далее – РССПАС), обратимся к характеристике выявленных нами русско-чешских пословичных соответствий, входящих в состав русского и чешского паремиологических минимумов.

Отметим, что в первом списке нами было отобрано 183 пословицы (из первых 500), являющиеся полными или частичными семантическими соответствиями русских пословиц, входящих в паремиологический минимум. Во втором списке приведено 508 чешских пословиц, в том числе 350 имеющих активное употребление, то есть, по нашим предположениям, также относящихся к паремиологическому минимуму рассматриваемого языка.

Списки были получены их авторами автономно, результаты не согласовывались. Форма некоторых чешских пословиц одного списка иногда не совпадает с формой соответствующей пословицы в другом списке. Это касается: синтаксиса (*S chutí do toho, půl je hotovo* в РССПАС и *S chutí do toho a půl je hotovo* в БШ), порядка слов (*Neštěstí nikdy nechodí samo* в РССПАС и *Neštěstí nechodí nikdy samo* в БШ), дублетных форм одного и того же слова (*Ne je n o m chlebem živ je člověk* в РССПАС и *Ne je n chlebem živ je člověk* в БШ), вклинивания компонентов-интенсификаторов (*Pes, který štěká, nekouše* в РССПАС и *Pes, který v e l m i štěká, n e r á d kouše* в БШ), синонимической замены компонента (*Své-*

mi osudu neutečeš в РССПАС и *Svému osudu neunikneš* в БШ), генерализации компонента (*Jablko nepadá daleko od stromu* в РССПАС и *Ovo se nepadá daleko od stromu* в БШ) и др.

В качестве основы для анализа используем тематический указатель русских пословиц из РССПАС, в котором отдельные русские пословицы присутствуют одновременно в нескольких рубриках, например, пословица *Кто не работает, тот не ест*, которая приведена в первой главе тематического указателя „Занятия. Работа. Дело. Учение. – Отдых. Безделье. Лень. Невежество”, в ее одиннадцатом разделе „Труд – результат”. Второй раз эта пословица встречается в восьмой главе „Взаимоотношения людей”, в четвертом разделе этой главы – „Общность – иждивенчество”. Таким образом, в тематическом указателе отражаются важнейшие смысловые значения пословицы, которое сформулировано в основной части РССПАС в дефиниции к пословице как ‘право удовлетворения своих потребностей имеет только тот, кто трудится’.

Начнем с общей характеристики совмещения тематического указателя русских пословиц, входящих в паремиологический минимум с первыми пятьюстами чешскими пословицами из списка БШ и списком РССПАС.

В основном все разделы двенадцати тематических глав покрываются чешским материалом хотя бы в одной пословице. Почти все русские пословицы некоторых разделов имеют чешские параллели. Однако выявлены некоторые разделы, где совмещенными с чешскими оказались лишь немногочисленные русские пословицы.

Вообще не покрытыми чешскими паремиями оказались следующие разделы глав тематического указателя (приводим целиком только те разделы, в которых ни одна русская пословица не имеет, по данным списков, чешской параллели):

I. Занятия. Работа. Дело. Учение. – Отдых. Безделье. Лень. Невежество

- 4) Цель – средства (*Игра не стоит свеч; Не обманешь – не продашь; Овчинка выделки не стоит*);
- 5) Целое – суть (*Вот где собака зарыта*).

VII. Любовь. Дружба

- 4) Любовь – ненависть (*От любви до ненависти один шаг*);
- 7) Любовь после сорока лет (*Седина в бороду, бес в ребро; Сорок лет – бабий век, сорок пять – баба ягодка опять*).

Во многих разделах глав тематического указателя имеются отдельные русские пословицы, для которых не нашлось чешской фреквентной параллели, в то время как остальные паремии раздела их имеют. В качестве примера целиком приведем русско-чешские пословичные соответствия из раздела „Хозяйственность – бесхозяйственность” пятой главы „Собственность. Хозяин. Гость. Богатство”: *Где положишь, там и возьмешь – Kam ho postavíš, tam ho najdeš; Готовь сани летом, а телегу – зимой – Přijde čas, že se zeptá zima, co dělal v létě; И Москва не сразу строилась – Dočkej času jako husa klasu; Любишь кататься – люби и саночки возить – Komu se nelení, tomu se zelení; Семь раз отмерь – один раз отрежь – Dvakrát měř, jednou řež; Снявши голову, по волосам не плачут – Pozdě bycha honiti. Для русской пословицы *Гром не грянет, мужик не перекрестится* чешское соответствие нами не обнаружено (отметим отсутствие параллелей к этой пословице в польском, словацком и английском языках, частотную болгарскую параллель *Доде не гръмне, не се чува*, малоупотребительные параллели с идентичным русской пословице компонентным составом в белорусском и украинском языках).*

Прокомментируем приведенные русско-чешские параллели раздела «Хозяйственность – бесхозяйственность» с точки зрения их семантической адекватности, поскольку в большинстве из них имеются абсолютно разные образные основы.

Исключение в этом смысле, составляют две пословичные параллели: *Где положишь, там и возьмешь – Kam ho postavíš, tam ho najdeš* (букв. *Куда его положишь, там его найдешь*) и *Семь раз*

отмерь – один раз отрежь – Dvakrát měř, jednou řež (букв. Дважды мерь, один раз режь), построенные на очень близких образах и функционирующие в одинаковых речевых ситуациях. Чешскими словарями фиксируется и другой вариант второй чешской поговорки – *Desetkrát měř, jednou řež* (букв. Десять раз мерь, один раз режь), но по имеющимся данным, этот вариант не является активно употребительным в современном чешском языке.

Пословица *Готовь сани летом, а телегу – зимой* в тематическом указателе представлена только в рассматриваемом разделе, а в основной части РССПАС имеет дефиницию ‘хозяйственный и предусмотрительный человек заранее заботится о нужных вещах, а не тогда, когда они могут понадобиться’. Поскольку в чешском материале среди употребительных пословиц отсутствует подобная по образной основе и компонентному составу пословица, мы предлагаем параллель *Až přijde čas, zima se zeptá, co jsi dělal v létě*, буквальный перевод – *Когда придет время, зима спросит, что ты делал летом*. Чешская пословица является, по сути, обоснованием для поучения, заключенного в русской поговорке, которая соотносится с чешской как генерализующий вывод из ее содержания. В чешской поговорке идея ‘хозяйственности’ выражена намеком, имплицитно. Ее отличает заключенное в ней противопоставление ответственного и сурового периода (‘зима’) – легкому и беззаботному (‘лету’), а в русской поговорке характеристика этих двух периодов отсутствует. Обе поговорки функционируют в ситуации, когда употребляющий ее в речи человек хочет заострить внимание реципиента на необходимости быть предусмотрительным и осторожным во всех своих планах и действиях.

Русская поговорка *И Москва не сразу строилась*, со значением ‘говорят как утешение тому, кто расстраивается, что работа продвигается медленно’, включена, кроме упомянутой пятой главы, также в шестую главу ‘Время. Терпение’, в ее третий раздел ‘Неторопливость’. Приведенное чешское соответствие *Dočkej času jako husa klasu* буквально переводится как *Дождись своего*

часу, словно гусь колоса. И русская поговорка, и чешская функционируют тогда, когда необходимо подчеркнуть неизбежность и целесообразность длительного ожидания чего-то очень важного – в этой семе, при всех прочих семантических различиях, заключена их функциональная общность.

Пословица *Любишь кататься – люби и саночки возить*, включенной, кроме пятой главы, еще в первую главу ‘Занятия. Работа. Дело. Учение. – Отдых. Безделье. Лень. Невежество’ в четырнадцатый раздел ‘Трудолюбие – лень’, предлагается соответствие в виде чешской поговорки *Komu se nelení, tomu se zelení* (букв. Кто не ленится, у того зеленеют посеvy). Чешская поговорка не отражает всего содержания русской поговорки, но употребляется в той же функции – при указании на невозможность достижения желаемого результата без труда. Дефиниция русской поговорки в основной части РССПАС включает указание на эту дифференцирующую сему (‘расплату за удовольствия’): ‘трудолюбивый и хозяйственный человек должен расплачиваться трудом за удовольствия, которые он желает получать’. В чешском материале нам не удалось обнаружить поговорку, которая бы более полно отражала содержание рассматриваемой русской поговорки (ни среди активно употребляемых поговорок, ни среди пассивного запаса).

Русская поговорка *Снявши голову, по волосам не плачут* фигурирует только в упомянутом разделе тематического указателя. Ее значение в основной части определено следующим образом ‘о недалековидном и безалаберном человеке, который разрушил основы чего-либо и сокрушается о последствиях’.

Чешское соответствие *Pozdě bycha honiti*, содержащее некролизм *bycha*, не поддается дословному переводу. Буквальный перевод поговорки, поэтому, придется свести к русско-чешской кальке *Поздно БЫХА догонять!* Основное значение чешской поговорки – ‘о невозможности, из-за упущенного времени, сделать что-либо’ – гораздо шире значения русской поговорки. В семантике русской поговорки ощущается акцент на том обстоя-

тельстве (отсутствующем в содержании чешской пословицы), что эта печальная констатация упущенного времени и возможностей является следствием еще более непоправимых потерь.

Чешская пословица *Pozdě bycha honiti* указана в РССПАС в качестве соответствия и для других пословиц: *После драки кулаками не машут* ‘говорят о слабых людях, которые проявляют интерес к конфликту после того, как он миновал и ничего изменить уже нельзя’ (девятая глава „Конфликтность”, ее второй раздел „Сила – слабость”) – для этой пословицы можно привести и другую чешскую параллель *Po boji každý generál* (букв. *После боя каждый чувствует себя генералом*); *Перед смертью не надышишься* ‘когда времени до чего-либо остается совсем мало, бесполезно пытаться компенсировать упущенное’ (шестая тематическая глава „Время. Терпение”, ее второй раздел „Резерв времени – дефицит времени”, а также одиннадцатая глава „Жизнь. Смерть. Советы”, ее первый раздел „Жизнь – смерть”) – для данной пословицы также найдено еще одно употребительное соответствие в чешском языке *Proti smrti není léku* (букв. *От смерти нет лекарства*); и для пословицы, включенной в РССПАС, но не входящей в паремиологический минимум Г. Л. Пермякова, – *Что имеем, не храним, потерявши, плачем* ‘человек способен оценить что-либо привычное, принадлежащее лично ему, только утратив это’ (пятая тематическая глава „Собственность. Хозяин. Гость. Богатство”, ее первый раздел „Дом, собственность” и четвертый раздел „Хозяйственность – бесхозяйственность”; а также седьмая глава „Любовь. Дружба”, ее шестой раздел „Последствия любовной драмы”).

Семантика чешской пословицы *Pozdě bycha honiti* как функционального пословичного соответствия указанных выше русских пословиц лишена конкретики отдельных важных сем русских паремий и может быть использована лишь в качестве обобщающего знака констатации утраченных надежд и упущенных возможностей.

Обзор чешских пословичных соответствий одного раздела тематического указателя русских пословиц (РССПАС, пятая глава, четвертый раздел „Хозяйственность – бесхозяйственность”) убеждает в невозможности точной передачи всей семантической структуры русских паремий средствами фреквентных (живых, активно употребляемых в современном чешском языке) паремий.

Итак, остается дискуссионным вопрос о выборе приоритетов при переводе пословицы – либо отдать предпочтение пословице, общеизвестной в языке перевода (то есть входящей в паремиологический минимум языка перевода) и являющейся обобщающим знаком ситуации, которая в оригинальной пословице конкретизирована в специфическом ракурсе; либо калькировать исходную пословицу на язык перевода, создавая, подобно Ф. Л. Челаковскому, прецедент для межъязыковой пословичной интеграции.

Процесс сопоставления паремиологических минимумов двух славянских языков – русского и чешского – сейчас находится в самом начале пути. Он порождает новую проблематику для контрастивной паремиологии, паремиографии, теории и практики перевода, когнитивной лингвистики.

Литература

- Пермяков Г. Л., *Основы структурной паремиологии*, Москва 1988.
Котова М. Ю., *Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями*, под ред. П. А. Дмитриева, Санкт-Петербург 2000.
Bittnerová D., Schindler F., *Sbírka českých přísloví*, Praha 1997.
Čelakovský F. L., *Mudrosloví národu slovanského ve příslovích*, Praha 1852.

Об одном забытом учебнике русского языка для чехов

История создания учебников русского языка для чехов восходит к концу XVIII века, когда выдающийся чешский славист Йозеф Добровский написал первый учебник русского языка для чехов (Dobrovský 1796). В XIX веке ученики и последователи Добровского создавали новые учебники русского языка для чехов еще не раз. В 1820 году Ярослав Пухмайер и в 1868 году Йозеф Коларж написали учебники русского языка, которые затем переиздавались в последующие годы. Наше внимание привлек малоизвестный труд Зденека Белчицкого *Učebnice ruského jazyka* (Bělčícký 1915). Книга хранится в Славянском фонде Библиотеки российской академии наук (БАН); шифр – ххх/б1687. Там же, под шифром ххх/б1591, хранится и чешско-русский словарь, изданный в 1916 году, в дополнение к этому учебнику. К этим текстам примыкает еще один, шифр – ххх/1635 – второе издание учебника З. Белчицкого, вышедшее в свет в Киеве в 1917 году и дополненное Антонином Дуткой (Bělčícký 1917). Происхождение указанных текстов вызывает целый ряд вопросов. Для кого они были созданы? Учебник Белчицкого имеет карманный формат (12х18 см); на первой странице напечатано: „Дозволено военной цензурой”. Итак, речь идет об австро-венгерских военнопленных чешского происхождения в период Первой мировой войны.

Приведем некоторые данные из сборника *Чехи и словаки во время войны и революции. Собрание официальных документов об империалистическом и коммунистическом движении среди чехов и словаков в России* (*Čecho-slováci ve válce a revoluci...* 1919).

В Российской империи перед началом Первой мировой войны вплоть до 1914 года проживало официально зарегистрированных сто тысяч чехов. Из этого числа половина, т.е. примерно пятьдесят тысяч жило на Волыни и в окрестностях Киева, а остальные жили разрозненно по всей России. В Санкт-Петербурге проживало тогда около тысячи чехов и такое же количество в Москве. Самый большой приток чехов из Австро-Венгрии начался после 1861 года. В это время в России было отменено крепостное право, и русские помещики охотно продавали землю чешским крестьянам. В начале Первой мировой войны чехи в России были сосредоточены в основном в местных землячествах Киева, Москвы, Петербурга и Варшавы.

Сразу после вступления России в войну с Австро-Венгрией состоялась встреча чехов, проживавших в Киеве. Собрание решало вопрос о создании чешской дружины, которая будет воевать вместе с русской армией против Австро-Венгрии. Когда встал вопрос о создании чешской дружины, то в военном министерстве порекомендовали создать союз чехословацких землячеств. Чешская дружина была создана и уже в октябре 1914 года отправилась на фронт. В феврале 1915 года в Москве состоялся первый съезд чехословацких землячеств, который избрал центральный исполнительный комитет и преобразовался в Союз чехословацких землячеств, который сыграл важную роль в дальнейших событиях.

В начале войны в Россию оказалось огромное число австро-венгерских военнопленных чешского происхождения. Главной задачей Союза чехословацких землячеств было объединить и направить этих людей в чехословацкую дружину. Чехословацкое землячество в Киеве имело право брать на поруки чехов и словаков из лагерей для военнопленных. С помощью землячества они получали работу и разрешение на свободное передвижение по городу. Союз чехословацких землячеств распространял листовки в лагерях для военнопленных для привлечения их в дру-

жину. В этой обстановке для военнопленных и написан учебник русского языка.

Учебник издан в Киеве в 1915 году, напечатан в Славянской типографии В. Швиговского объединением *Ян Амос Коменский*, составитель Зденек Белчицкий.

В предисловии автор указывает на то, что учебник составлен для чехов, которые могут воспользоваться возможностью выучить язык братского славянского народа, среди которого они находятся. Обучение русскому языку австро-венгерских чехов не было самоцелью. Выразительное предисловие к учебнику свидетельствует о проводимой среди них активной пропаганде в духе славянофильских и русофильских идей чешского национального возрождения.

Jistě každý rád se ujme učení řeči bratrského národa, v jehož středu právě dlí a použije této velmi příznivé okolnosti pro mnohé i nenavratitelné, a jistě nikdo neustane ani v zajetí pracovat na provádění odkazu Safaříkova a Havlíčkova. Tím utuží i svaz slovanstva a poslouží se řešení otázky dorozumivací řeči slovanské. Místo, jež zaujímá vtlučená nám švábština, vším právem zaujme řeč bratrská (Běličický 1915, s. 3).

Обратимся к характеристике учебника. Учебник состоит из двух частей, в которых семь глав. Невзирая на небольшой объем учебника, всего 119 страниц, в нем представлены все необходимые разделы грамматики. Так, имеется вводная часть, в которой приведен русский алфавит, кратко изложены правила письма и произношения. Затем следует семь основных глав. В первой главе дается представление о составе предложений, в следующих четырех главах рассматриваются имена: существительные, местоимения, прилагательные, числительные. В двух последних главах рассматривается глагол и неизменяемые части речи: наречия, предлоги, союзы и междометия. В начале каждой главы приводятся на чешском языке грамматические объяснения. Далее следуют парадигмы склонений. Далее следуют упражнения, написанные по-русски для чтения и перевода на русский язык, где трудные слова переведены на чешский язык и приводятся

в скобках. Другой тип упражнений предназначен для перевода с чешского на русский язык. В них сложные случаи также переводятся на русский язык в скобках за переводимым словом. Содержание упражнений как на чешском, так и на русском языках отражает чешские исторические и бытовые реалии. В самом учебнике нет словаря, а лексику предполагается заучивать в контексте фраз и предложений. Сегодня мы назвали бы это элементами коммуникативного метода обучения. В конце почти всех глав приводятся небольшие художественные произведения из русской литературы или из чешской, переведенной на русский язык. Так, в первой главе это стихотворение А. В. Кольцова *Путь*, во второй главе А. С. Пушкина *Клеветникам России*, в третьей главе А. С. Хомякова *Славянам*, в пятой главе отрывок из речи Карла Сладковского *Ян Гус 1415–1915*, в шестой главе это рассказ *Влтава. Музыкальная поэма Б. Сметаны*. В седьмой главе – отрывок из романа *Псоглавцы. Историческая картина А. Ирасека*. Все тексты приведены по-русски, при трудных словах даны сноски, а под текстом, в соответствии с этими сносками переводятся трудные места. Эти произведения имеют целью разбудить в читателях дух славянского единства и дух национальной гордости в чехах за свою древнюю историю. Обращают на себя внимание контексты, связанные с политической ситуацией в Европе того времени.

Как видно из предисловия ко второму изданию 1917 года, написанного Антонином Дуткой, учебник выполнил поставленную перед ним задачу. А. Дутка писал:

Книга З. Белчицкого исполнила и исполняет свое предназначение среди тех, для кого она была написана. Доказательством этого служит то, что первое издание раскупили в короткий срок, и спрос на этот учебник не исчезает. „Вследствие этого необходимо приступить ко второму изданию... Посвящаю своим друзьям, чешским пленным!” (Běličický 1917, s. 4).

В предисловии к учебнику Белчицкого сказано, что он составлен по образцу учебника Йозефа Коларжа 1868 года издания

(Kolář 1868). Сравнивая эти два учебника, можно отметить следующие моменты:

1. Структура грамматических объяснений сохранена, но в сокращении, взято самое необходимое;
2. Упражнения в учебнике Белчицкого составлены по подобию учебника Коларжа, т.е. одна группа упражнений написана на чешском языке, в скобках приводятся сложные слова, переведенные на русский язык; упражнения предназначены для перевода с чешского на русский язык и обратно. Другая группа упражнений – на русском языке. При составлении упражнений Белчицкий опирается на методический подход Коларжа:

Radím, aby se té mluvnice užívalo takto:

- a) Každé cvičení (příklady) ať se dobře přečte (dle přízvuku a výslovnosti), přičemž se každá věta hned přeloží do češtiny;
 - b) ať se každé cvičení správně opíše rusky, a
 - c) český překlad ať se napíše také zvlášť;
 - d) ať se český překlad přeloží nazpět do ruštiny, ale nazpaměť;
 - e) tento ruský překlad ať se porovná s originálem, přičemž se opraví, kde třeba
- (Kolář 1868, předmluva);

3. В учебнике Коларжа большое внимание уделено произношению, в то время как у Белчицкого этому почти не уделяется внимания. Вероятно, это объясняется тем, что учебник Белчицкого предназначен для использования в русской языковой среде, и объяснить подробно произношение автор не считает целесообразным;
4. В учебнике Коларжа на 24 страницах приведены русские слова и выражения с переводом, в которых смысл меняется в зависимости от постановки ударения. В учебнике Белчицкого такой раздел отсутствует.

После проведенного анализа можно сделать вывод, что учебник Белчицкого 1915 года издания, своего рода „самоучитель” по русскому языку для военнопленных чехов, желающих в России во время Первой мировой войны научиться говорить по-русски, это интересная страничка из истории чешской русистики.

Литература

Běličický Zd., *Učebnice ruského jazyka*, Киев 1915.

Běličický Zd., *Česko-ruský slovník*, Киев 1916.

Běličický Zd., *Učebnice ruského jazyka*, druhé vydání, přehlédl a doplnil Antonín Dutka, Киев 1917.

Čecho-Slováci ve válce a v revoluci. Sbirka oficiálních dokumentů o hnutí imperalistickém a komunistickém mezi Čechy a Slováky v Rusku, Moskva–Kijev 1919.

Kolář J., *Mluvnice ruského jazyka*, Praha 1868.

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Libor Pavera, František Všeticka, *Lexikon literárních pojmů*, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002, 422 s.

Znani czescy literaturoznawcy: L. Pavera i F. Všeticka opracowali słownik terminów literackich, przeznaczony dla uczniów szkół średnich i studentów. Lektura pracy pozwala jednak sądzić, że krąg czytelników będzie znacznie szerszy. Recenzowany leksykon bez wątpienia realizuje cel praktyczny, ponadto towarzyszy temu dbałość Autorów o poziom naukowy publikacji, która daje zwięzły i przystępny zarys podstawowych pojęć literaturoznawczych.

Jak stwierdzają Autorzy we wstępie kompendium, mają oni świadomość, jaki wpływ na literaturę i kulturę wywarła audiowizualność i internet, choć semiotyczne teksty kultury (w których słowo współistnieje z obrazem stałym i ruchomym oraz z dźwiękiem) są tu w mniejszym stopniu obecne, niż np. w równoległym wydanym w Polsce *Słowniku pojęć i tekstów kultury* (red. E. Szczęsna, Warszawa 2002).

W sposobie definiowania pojęć zwraca uwagę etymologia słów i bardzo częste odwoływanie się do przykładów czeskich lub pochodzących z literatury powszechnej (także z literatury polskiej) w czeskich przekładach. Zdarzają się jednak hasła niezawierające przykładów, choćby *poeta doctus*. Wskazane w hasłach tytuły utworów nie są wyróżnione graficznie. Niektóre hasła są rozbudowane (np. *čas*), inne wydają się zbyt lakoniczne i ograniczają się do definicji (np. teorie dramatu – nie dowiadujemy się, jakie były lub są). System haseł odsyłaczowych rozszerza zakres tematyczny publikacji słownikowej, który tworzą głównie: historia i teoria literatury, krytyka literacka, różne obiegi literatury, szkoły i kierunki badawcze (o niektórych grupach literacko-artystycznych możemy przeczytać także w polskim kompendium G. Gazdy – *Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX w.*, Warszawa 2000).

Wielu hasłom towarzyszy wykaz literatury, w której pojawiają się liczne polonica (polskie opracowania, polskie przekłady prac obcojęzycznych, prace polskich bohemistów, a nawet przekłady polskich prac teoretycznoliterackich na język czeski). Leksykon opatrzony jest w indeks terminów i nazwisk.

W refleksji nad instrumentarium pojęciowym obecne są nowe metodologie badań literackich: komunikacjonizm, dekonstrukcjonizm, postmodernizm, intertekstualność, krytyka feministyczna. Terminologia literaturoznawcza obejmuje szereg specyficznie czeskich pojęć, np. *husitská literatura*, *Devětsil*, *Lumírovci*, *novina*, *písmacká literatura*, *pololídová literatura*, *romaneto*, *rozhlasek*, *rymovník*, *scholia*. Szczególnie cenne są hasła dotyczące pojęć nieodnotowywanych w polskich słownikach terminów literackich, np. *medailon*, *alamodová literatura* i wiele innych. Odnajdujemy

także polskie terminy, np. *fraszka*, *gavenda*, *krakovaček*, *šopka*, *třetí oběh* czy też Ingardenowska *konkretizace*. *Słownik...* – zgodnie z układem gniazdowym – podaje niekiedy w jednym hasle pokrewne pojęcia, np. triada: *renesans*, *humanismus*, *reformace*. Przykładem gniazda tematyczno-funkcjonalnego jest *anticipace*, któremu to hasłu głównemu towarzyszą podhasła: *prima a.*, *falešná a.*, *otevřená a.*, *opožděná a.*

Praca obejmuje najważniejsze problemy literaturoznawcze, choć nie znajdujemy tu takich gatunków i metod twórczych, jak np. *centon*, *kolaž*, *fantasy*, *limeryk* (i inne gatunki poezji humorystycznej, zabawowej, niepoważnej). Nie ma też hasła *przekład*, jak również pojęcia stylu epoki (prądu, szkoły, grupy literackiej) i gatunku.

Uzupełnienia zgłosiłabym do następujących ujęć:

- w hasle *periodizace literatury* piszą Autorzy o zmiennej dwuprądowości procesu literackiego – prądach romantycznych i klasycznych – przywołując tu m.in. koncepcję J. Krzyżanowskiego. Można tu było sięgnąć po nowszą, z lat dziewięćdziesiątych pochodzącą propozycję J. Ziomka, który wskazał cztery formacje w dziejach literatury polskiej, obejmujące rytmy dłuższe niż epoka (średniowiecze – klasycyzm – romantyzm – awangardyzm), czyli epoki *sensu largo*. Prądy literackie, jak wiadomo, mają charakter ponadnarodowy, stąd przydatność tego typu periodyzacji także w odniesieniu do literatury powszechnej;
- w hasle *retorika* nie wspomina się o stylu retorycznym, o funkcjach wypowiedzi retorycznej (*docere*, *movere*, *delectare*), o tekstach nacechowanych perswazyjnie. Warto też było zauważyć, na czym polega współczesność retoryki;
- mam wątpliwość, czy Autorzy słusznie oddzielili hasła: *loci communes* i *topoi*;
- hasło *mimesis* nie wyjaśnia, co ta kategoria oznacza w literaturze współczesnej i do jakich zjawisk się odnosi;
- w hasle *stylistika* nie ma wzmianki o Ch. Bally'm, neoidealizmie, a także o nowych nurtach badawczych.

Powyższe uchybienia nie stanowią jednak o niskiej wartości omawianej pracy. Samo podjęcie się tak trudnego zadania już wymaga pochwały. Ponadto – jak w tym przypadku – dobre jego opracowanie i przygotowanie do druku wartość tę podwyższa. Natomiast drobne potknięcia zawsze można poprawić w następnym wydaniu.

Na zakończenie warto wspomnieć, że zawartość treściowa omawianej pracy jest – mimo powyższych uwag szczegółowych – imponująca. *Lexikon literárních pojmů* jest opracowaniem pożytecznym i celowym, przydatnym w badaniach komparatystycznych i poręcznym w użyciu narzędziem pracy naukowej humanisty. Służy porządkowaniu i systematyzacji wiedzy oraz ułatwia rozumienie głównych nurtów literaturoznawczych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż książka napisana jest w sposób komunikatywny, równie pozytywnie ocenić należy dobrą oprawę edytorską.

Barbara Bogolebska, Łódź

**Aleš Haman, *Nástin dějin české literární kritiky*,
Nakladatelství H & H, Praha 2000, 132 s.**

Nová publikace Aleše Hamana mj. zaplňuje citelnou mezeru českého knižního trhu ve filologické oblasti. Podobná syntetická práce o tuzemské literární kritice nebyla doposud sepsána; existují pouze dílčí studie, zastaralé přehledy a neméně již anachronické pokusy o hodnocení či vymezení dané problematiky. V tomto smyslu má Hamanova syntetická práce průkopnický význam, poněvadž spojuje (s přihlédnutím k potenciálním recipientům knihy, zvláště vysokoškolským studentům humanitních věd aj.) nezbytnou popularizační dikci se zasvěceným výkladem jednotlivých vývojových etap daného tématu.

Badatel měl nejednou velice nesnadnou volbu, jak si počínat, zpravidla však zvolil šťastné řešení: povýtce se mu podařilo dokumentovat a demonstrovat proměny české literární kritiky na příkladu dobových polemik, které často vyznívaly jako určité mezníky kulturního vědomí; připomeňme alespoň klíčovou disputaci o povaze Máchova *Máje* a skrze dobové hodnocení této poémy odtud vyplývající fundamentální spor o obecné zacílení celé české společnosti a kultury. Tato metoda autorovi umožnila postupovat v chronologické posloupnosti a zároveň průběžně začleňovat do výkladu komplexnější otázky estetické, historické nebo politické. Literární kritika je především tvůrčí sférou a nejvýznamnější je v ní kreativní fenomén, v konkrétní recepci však mnohdy musí výrazně kompenzovat další společenské faktory, a proto se v ní zrcadlí směřovací tendence historického období, mj. jejich prohlubování anebo překonávání.

V tomto směru lze Hamanovu práci skutečně uvítat. Zároveň je ovšem zapotřebí konstatovat, že sama interpretační disciplína „kritika kritiky“ nebo „historie kritiky“ má četná úskalí, diktovaná rovněž skutečností, že se postavení a pojetí literární kritiky v evropském kontextu proměňovalo (autor knihy to dobře zná i z vlastní zkušenosti), že např. literární kritika za romantismu měla pramálo společného s kritikou pozitivistickou, a ta byla zase programově mnohem „etičtější“ a „estétičtější“ než novodobá kritika sociologická (tj. vulgárně sociologická, tendenční), která přitom tvoří velice podstatný fenomén kultury 20. století (srov. pojmy proletářské umění, avantgardní koncepty, masová kultura) i v zemích liberální demokracie.

Aleš Haman ve své publikaci volí chronologický postup, leč svůj výklad – po úvodní studii – počíná ranou obrozeneckou literární kritikou. Pomíjí tudíž pomíjí dřívější postavení a poslání české kritiky literární, která zprvu měla především charakter kritiky historické a filologické; tehdy v ní ostatně dominoval beletristický žánr alegorie nebo traktátu atp. Též její genologická skladba byla jiná, nicméně právě na toto pojetí obrozenecká kritika ve svých prvních pokusech o kritickou reflexi navazovala. Koneckonců s tím koresponduje i Hamanem citovaná Patočková úvaha o povaze

estetického soudu, o tom, co je umělecké dílo, či o vymezení toho, co je esteticky správné a co nesprávné.

Ve zmíněné úvodní kapitole autor přichází s podnětnou typologií literární kritiky, přičemž odkazuje především na práce klasiků českého literárního myšlení – Arna Nováka, Otokara Fischera a Václava Černého. Možná však měla být zmíněna i pojetí jiná a výrazně odlišná (francouzská tradice, anglosaská tradice, ruská a samozřejmě německá, která měla největší vliv na vývoj a charakter literární kritiky v Čechách), o nichž badatel referuje pouze s ohledem na 20. století (Dufays, Mauron, Goldmann aj.). Naopak skoro zbytečná je tady zmínka o spisku Jiřího Hájka o literární kritice, zvláště když se k tomuto textu Haman pak už nevrací, především však tento spisek není metodologicky souměřitelný s ostatními citovanými pracemi!

Pisatel si tedy zvolil metodickou osu výkladu, na jejímž základě mohl charakterizovat peripetie české literární kritiky v různých historických a estetických periodách. Nicméně se v časovém sledu jeho souhrnných hodnocení vynořují žánrové problémy, které potom také mají vliv na definitivní podobu určité etapy. Někdy jde o samo pojetí literární kritiky, do níž nepatří pouze glosy a články v tisku, nýbrž i vrcholný literárněkritický žánr eseje, čili žánr, který se mnohdy ocitá na samém pomezí literatury a filosofie, literatury a estetiky atp. Z tohoto hlediska v Hamanově nástinu postrádám kupříkladu vytříbené eseje dekadenta a estéta Arthura Breiskyho. Možná je to právě v případě Breiskyho dáno badatelovou koncepcí: chápe totiž svůj nástin české literární kritiky převážně jako nástin literární kritiky bohemistické, což může někdy splývat, kolikrát to však není jedno a totéž. Zrovna jméno Breiskyho by v sousedství Miloše Martena, Arnošta Procházky a Jiřího Karáska ze Lvovic mělo figurovat. V jiném historickém údobí se tu přecházejí mlčením mj. „nebohemistické“ literární eseje Jana Čepa.

Jestliže je však Hamanův nástin vývoje či „příběhu“ české literární kritiky dovezen až do konce třicátých let (tedy až do období potlačení literárního života za druhé světové války) s patřičnou precizností a přehledností, což je bezpochyby dáno i erudicí a metodologickou suverenitou pisatele, zbývající časové období je již zpracováno problematictěji. Ačkoli od roku 1939 nebo 1945 již uplynulo kolem šedesáti let, poválečný stav, vývoj a obecně situaci literární kritiky zde autor shrnul do jediné kapitoly; přitom kupříkladu časově srovnatelné období v 19. století analyzuje na nejméně dvakrát větší ploše. Tím ovšem vznikají i některé zbytečné nejasnosti nebo redukce. Reflektována by měla být rovněž kritika existencialistická, civilistická, surrealistická, po celé období 1945–1989 dochází ke zpozdilým, ale zdůrazňovaným reziduím avantgardních představ o proletářské kritice atp.

Sám Haman přitom veškerou problematiku tohoto dlouhého období dokonale zná a nejednou prokázal (v monografiích i v dílčích studiích) svou schopnost analytického shrnutí konkrétních sporných míst. Pomineme-li období protektorátu, následující časové úseky by si zřejmě vyžádaly kupříkladu tři samostatné kapitoly. V úvahu by připadala rekapitulace vývoje do roku 1969, pak situace kritiky v průběhu posrpnového dvacetiletí (s rozložením na oficiální pojetí a nonkonformní tvorbu v samizdatu

a exilu), konečně (alespoň ve zkratce) postoje kritiky v devadesátých letech, kdy se už v Čechách v plné šíři konstituovalo tzv. postmodernistické pojetí literární kritiky. Hodnotová škála mezi letopočty 1945 a 1999 se může badatelům jevit různě, ale zřetelné vývojové předěly a proměny estetické normy mezi těmito časovými úseky se zdají být evidentní a vybízejí k zevrubnějšímu výkladu.

Až na dvě výjimky (ve výčtu) v této kapitole není uvedeno jméno prof. Aleše Hamana. I když je skromnost velkou ctností a autor se možná považuje v prvé řadě za literárního historika a teoretika, nicméně jeho podíl na české poválečné kritice (přibližně rokem 1960 počínaje) je nepopíratelný; sluší se z novějších časů připomenout alespoň Hamanovy kritické referáty v „Literárních novinách“, donedávna i v „Nových knihách“ (před jejich zánikem), dále v „Tvaru“ atp. Badatel pochopitelně nemá v úmyslu sám se stavět na kritický „Olymp“, jeho významné postavení na scéně české literární kritiky je však zapotřebí aspoň v recenzi této publikace zdůraznit. Bez Hamanových kritických reflexí by totiž scénérie české literární kritiky byla značně neúplná.

Ani některé další výrazné osobnosti se prof. A. Hamanovi do jeho bohemistického vymezení literární kritiky nevešly: kupříkladu ponechává stranou esejistické komentáře Emanuela Frynty (mj. o Hrabalovi, Kolářovi) nebo eseje Jana Zábrany, které ovšem leží mimo oblast bohemistiky. Až v devadesátých letech v knižních souborech vycházely kritické reflexe z pera Ivana Slavíka. Přitom jejich dílo má ve sféře českého kritického myšlení o literatuře větší význam než takové figurky (byť škodlivé) jako Gustav Bareš, Václav Pekárek nebo František Nečásek. Nejde o žádné kádrování naruby, ale význam těchto osob ve vývoji české literární kritiky je skutečně mizivý a zanedbatelný. Takový Vítězslav Ržounek byl učiněným postrachem doby, leč kdo o něm dnes ještě něco ví, když nenapsal nic, co by mělo charakter estetického soudu, nikoli ideologického odsudku nebo naopak chvalozpěvu? Zmínku by si možná zasloužili i další, například liberecký Milan Exner, z mladších českobudějovický Michal Bauer a olomoucký Igor Fic. A jsou-li uvedeni tzv. novinoví recenzenti (až po vydání knihy na sebe výrazně upozornil Radim Kopáč, též pilný editor mladé tvorby), z vyhraněných pisatelů by si připomenutí zasloužil i subtilní glosátor básnické tvorby Rudolf Matys.

Přes tyto polemické poznámky, které se vesměs vztahují pouze k závěrečné kapitole badatelovy práce, je Hamanův nástin vývoje české literární kritiky potřebnou prací, která dozajista může inspirovat i příští pokusy o rekapitulaci tohoto tématu. Česká literární kritika si to bezpochyby zaslouží – možná znovu z Hamanova pera.

Vladimír Novotný, Plzeň

Milan Hrdlička, *Cizí jazyk čeština*, ISV nakladatelství, Praha 2002, 150 s.

Nebývá zvykem, aby bohemista sotva čtyřicetiletý vydával knižně soubor svých vesměs již dříve publikovaných prací, včetně přehledu vlastní bibliografie. Pokud nakladatelství ISV k takové publikaci sáhlo, učinilo tak jistě s ohledem na téma, které je v kontextu domácí bohemistické produkce neobvyklé a vlastně nové – problematika výuky češtiny jako cizího jazyka (dále ČCJ).

Milan Hrdlička, spjatý od počátku své vědecké kariéry s Ústavem bohemistických studií na FF UK, se očividně snaží rozhýbat poněkud stojaté vody oboru, což dokazuje i jeho bohatá a různorodá bibliografie. Prezentovaný výběr článků, který – jak autor sám říká – není završením určité etapy bádání a má být spíše inspirativním vhladem do problematiky, podíílil určité jednotící tématické i stylové linii. Nezařadil do něj některé své „vědeckější“ články, zejména o českých předločkách, naopak prezentuje především příspěvky, které zazněly jako přednášky či vystoupení na konferencích, a články publikované v čtenářsky přístupnějších periodikách, často i popularizačních. Příspěvky člení do pěti oddílů, v nichž se zabývá různými aspekty výuky ČCJ: (1) vyučovacími metodami a jejich vývojem, (2) pojetím mluvnice ve výuce ČCJ, (3) otázkami komunikace a komunikativnosti, (4) problematikou českého národního jazyka a prezentování jeho variet ve výuce ČCJ, (5) příspěvky, které se nevešly do žádného z těchto oddílů, jsou pak zařazeny do oddílu pátého.

Hrdlička prokazuje dobrý přehled po historii i současném stavu aplikované lingvistiky doma i v zahraničí, i když vzhledem ke svému druhému oboru akcentuje materiály frankofonní provenience. V základních otázkách pojetí výuky ČCJ, za něž považujeme problémy řešené v oddílech 2. a 4. (prolínají ovšem i do oddílů zbývajících), zastává autor spíše tradiční, zdravě konzervativní stanovisko. Právě příspěvky týkající se této problematiky zasluhují větší pozornost.

Hodně prostoru je věnováno otázce poměru spisovné a obecné češtiny ve výuce ČCJ. Hrdlička se ve shodě s většinou autorů domnívá, že základním útvarem při výuce ČCJ má být čeština spisovná – argumenty jsou známy a není třeba je na tomto místě opakovat. Značné vnitřní rozrůznění češtiny a množství komunikačních situací, v nichž se na většině českého území obecné češtiny používá, je ovšem problémem, který je třeba v učebnicích a kurzech lépe řešit. Za nejvhodnější postup považuje autor kombinaci příležitostných poznámek o obecné češtině (případně podle zaměření a místa studia i o příslušném moravském interdialektu) a souhrnné lekce se zajímavými texty. Obecná čeština by podle něj měla být prezentována signalizovaně, odděleně od češtiny spisovné a v relativní komplexnosti – poučení o obecné češtině v dosavadních učebnicích se totiž povětšinou omezuje na morfologii, zatímco třeba lexikální stránka, která činí studentům největší potíže, je opomíjena.

Další zásadní problém, k němuž se Hrdlička vyjadřuje, je prezentace gramatiky ve výuce ČCJ. Varuje – podle našeho názoru správně – před přeceňováním komuni-

kační metody na úkor systémového výkladu gramatiky a kriticky se staví k různým pokusům o přílišnou redukci gramatiky a „negramatické“ pojetí výuky ČCJ. V jednom z nejzajímavějších příspěvků se pak vyjadřuje ke klíčovému problému výuky české morfologie – prezentaci deklinačního systému češtiny. Konfrontuje dvě protichůdné koncepty zastoupené v učebnicích ČCJ – probírání deklinaace po celých paradigmatech a postupné probírání jednotlivých pádů různých deklinačních typů – přičemž celostní pojetí deklinaace považuje za vhodnější. Zde je ovšem třeba zdůraznit to, co Hrdlička jen naznačuje (s. 76): celostní pojetí je vhodné pro slavisty-filology, slovanské a snad i německé a jiné mluvčí, kteří mají dobrou představu o fungování pádového systému, je ale zcela nepředstavitelné např. pro Američany-neofilology. Výhody tohoto pojetí se nám navíc nezdaří až tak významné. Uživatel flektivního jazyka by si totiž měl vedle vertikálních vztahů v rámci paradigmatu stejně uvědomovat i vztahy horizontální, tedy vztahy koncovek jednoho pádu v průřezu různých paradigmat. Také další argument, větší přirozenost textů u první konceptu, je diskutabilní – pokud nejsou paradigmata všech hlavních vzorů obou čísel vychlena v krátkém časovém rozmezí, dochází k značnému omezení používaného lexika.

Ne všechny příspěvky publikace jsou stejně inspirativní a přínosné. Některé jsou vysloveně popularizační, některé se obsahově poněkud překrývají, u některých původně přednášených příspěvků vidíme sklon k jisté mnohomluvnosti. V jednom z emotivněji laděných příspěvků závěrečného oddílu se autor zamýšlí nad nelichotivým stavem oboru a jeho dalších perspektivách a hledá příčiny tohoto stavu. (Poznámenejme jen, že zmiňovaný aspekt finanční jednou z hlavních příčin nebude – výukou češtiny pro cizince si dnes lze na rozdíl od jiných humanitních oborů velmi slušně přivydělat.) Stejně jako v jiných případech se Hrdlička spíše ptá, než nachází odpověď, ale to je v souladu se záměrem publikace uvést čtenáře do problematiky výuky ČCJ a upozornit na hlavní problémy. V tomto ohledu publikace účel jistě splnila. Na další práci autora i jeho kolegů pak záleží, zda si obor čeština jako cizí jazyk vydobude takové postavení, jaké má výuka mateřského jazyka pro jinojazyčné mluvčí v řadě jiných evropských zemí.

Jiří Rejzek, Praha

Książki nadesłane do redakcji „Bohemistyki”

Stanislava Kloferová, *Mluva v severomoravském pohraničí*, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2000, 130 s., ISBN 80–210–2470–4.

Autorka v práci analyzuje jazyk codziennej komunikacji na terenie pogranicza czesko-polskiego, a dokładnie w miejscowościach: Adolfovice, Branná, Javorník, Libina, Loučná nad Desnou, žulová, Andělská Hora, Jindřichov u Krnova, Lomnice,

Město Albrechtice, Razová, Zátor, Petrov nad Desnou, Jeseník, Leskovice nad Moravici i w Světlej. Nagraane tam teksty autorka poddała analizie językowej: fonetycznej i morfologicznej. Śledzi miarę występowania cech regionalnych jako części żywej, potocznej normy językowej. Szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest prestiż cech gwarowych. Książka jest uzupełniona tekstami młodej generacji.

***Myšlenky na zlomu tisíciletí. Thoughts for the New Millennium*, uspoř. Alena Mizerová, Jan Sedlák, Petr Dub, fot. Libor Tichý, Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství „Vutium”, Brno 2002, 301 s., ISBN 80–214–1872–9.**

W książce są publikowane rozważania znanych osobistości czeskiego świata intelektualistów, którzy nas prowadzą światem nauki i techniki na progu trzeciego tysiąclecia. XX wiek jest według Autorów wiekiem dobra i zła. Mnóstwo wynalazków, powstanie i wprowadzenie nowych technologii przesunęło granice ludzkiego poznania ku rozszyfrowaniu własnego genomu. Fotografie towarzyszące tekstem w artystyczny sposób przedstawiają „ducha czasu” – lustrzane odbicie w architektonicznych pierwiastkach. Poszczególne okresy XX wieku ukazują uogólnienia lub indywidualny sposób spojrzenia. Fotografie pochodzą z Brna i okolic. Znajdują się tutaj ciekawe rozważania m.in. Milana Jelínka, Ludvíka Kundery, Bedřicha Velického, Victora Miroslava Fica, Sir Franka Lampla, Petra Piřhy, Milana Uhde i wielu innych.

***Encyklopedický slovník češtiny*, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, 604 s., ISBN 80–7106–484–X.**

Encyklopedyczny słownik zawiera najwazniejsze problemy struktury i funkcjonowania języka czeskiego i jego opisu z punktu widzenia zarówno badań w kraju, jak i zagranicą. Jest przeznaczony nie tylko dla bohemistów, ale także dla innych filologów, kognitywnych psychologów, ponieważ porusza problemy ogólnojęzykoznawcze i kognitywne z punktu widzenia filologa, psychologa, socjologa, terii komunikacji. Słownik nie ogranicza się do problemów współczesnej czeszczyzny, ani też nie opisuje jej z punktu widzenia jednej metodologii, chociaż ze względu na tradycję praskiej szkoły lingwistycznej dominuje tu strukturalizm. Wiele haseł zostało opracowanych za pomocą metodologii, często różnych koncepcji opisu. Praca jest dziełem kolektywu 65 naukowców z całych Czech.

***Čeština – univerzália a specifika*, red. Zdeňka Hladká, Petr Karlík, t. 1, Brno 1999, 130 s.; t. 2, Brno 2000, 192 s.; t. 3, Brno 2001, 347 s.; t. 4, Praha 2002, 369 s.**

Konferencja „Čeština – univerzália a specifika” powstała z myślą o przedyskutowaniu projektu przygotowywanego słownika *Čeština v jazykovědných pojmech*. Szło o znalezienie takiej postaci haseł słownikowych, które by proporcjonalnie uwzględ-

niały język czeski z punktu widzenia tzw. gramatyki uniwersalnej, jak również z punktu widzenia „parametryzacji” uniwersalno-gramatycznych zasad. Wraz z opisem niektórych podstawowych kategorii dochodziło do konieczności przedyskutowania dalszych zagadnień opracowania wspomnianego słownika. W ten sposób odbyły się już cztery konferencje. Na pierwszej przeważała tematyka teoretyczna, jak rozwój teoretycznego i metodologicznego opisu w czeskim językoznawstwie, gramatyka tradycyjna, kognitywna, logika w gramatyce, prawdopodobieństwo w opisie zjawisk językowych itd. W tomie drugim zwrócono uwagę na aspekt historyczny i typologiczny opisu języka oraz ukazano to na opisie nie tylko czeskiego w aspekcie diachronicznym, ale także innych języków słowiańskich czy europejskich. Tom trzeci obejmuje studia czeskich i zagranicznych bohemistów, którzy podnoszą aspekt języka czeskiego jako tego, którego analiza pozwala poznać język jako system, oraz artykuły, w których autorzy ukazują, że różne teorie języka jako specyficznie ludzka wiedza są konfrontowane z danymi, do których się dochodzi na podstawie analizy języka czeskiego. W tomie czwartym zaprezentowano artykuły, wykorzystujące najnowsze metody opisu języka, jak np. gramatykę kognitywną czy lingwistykę korpusową.

W każdym z tomów (dokładniej od tomu drugiego) znajdują się dwa rodzaje tekstów: pierwsze to referaty-dyskusje (dział *Formum*), odnoszące się do referatów wydrukowanych w poprzednich tomach, oraz referaty wygłoszone na konferencji (dział *Symposium*). Zarówno w przypadku pierwszych, jak i drugich poza tematycznymi tekstami znajdują się teksty wychodzące poza temat konferencji, jednak dotyczące opisu jednego ze zjawisk języka czeskiego z punktu widzenia diachronicznego lub synchronicznego.

Karel Kamiš, *Čeština a romština v českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti*, Univerzita JEP v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1999, 137 s., ISBN 80-7044-251-4.

Niniejsza praca jest analizą języka Romów, żyjących na terenie Republiki Czeskiej. Celem pracy jest opis konfrontatywny języka czeskiego i romskiego pod względem fonetycznym, morfologicznym, składniowym, graficznym i leksykalnym. Autor przedstawia problem z trzech punktów widzenia: historycznego, lingwistycznego i komunikacyjnego. Pierwszy ukazuje z historycznego punktu widzenia rozmieszczenie i migrację Romów na terenie ziem czeskich i Słowacji, częściowo także Węgier. Drugi obejmuje analizę lingwistyczną języka Romów i Czechów oraz ich konfrontację. Trzeci wydziela spektrum komunikacyjne języka czeskiego i romskiego, gwarantując dyferencjację języka Romów, rozwiązywanie multietnicznych i multikulturowych barier w komunikacji oraz bazę komunikacji w czeskiej szkole na przełomie XX i XXI wieku, a także udział dyskursywnego i emocjonalnego symbolizmu w komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów, żyjących w Czechach.

***Studie z korpusové lingvistiky*, věd. red. František Čermák, Jana Klímová, Vladimír Petkovič, Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, 529 s., ISBN 80-7184-893-X.**

Celem tej publikacji jest dostarczenie do rąk odbiorcy podręcznika, przeglądu głównych gałęzi i kierunków, które dziś przedstawiają kierunek korpusowa lingwistyka. Ten kierunek badań wykracza poza tradycyjne ramy językoznawstwa. Książka stanowi wybór studiów (z jednym wyjątkiem), analiz i innych artykułów przednich znawców lingwistyki korpusowej, która rozwija się dziś najbardziej w krajach anglosaskich. Obejmuje ona trzy działy: *Korpusová lingvistika v rámci jiných oborů*, *Jazykový korpus (korpus, jeho struktura a výstavba, korpus a jeho typy, korpus a jeho anotace)*, *Korpusová lingvistika (korpusová lingvistika a její metody a přístupy, analýza a vytěžování korpusu, některé aplikace a souvislosti korpusu, otevřené otázky a problémy korpusové lingvistiky)*.

***Česká a polská emigrační literatura. Emigracyjna literatura czeska i polska, Sborník z mezinárodní vědecké konference*, red. Libor Martínek, Martin Tichý, Slezská universita v Opavě, Opava 2002, 310 s., ISBN 80-7248-169-X.**

Tom zawiera 35 referatów wygłoszonych podczas konferencji, zorganizowanej przez Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Tom jest poświęcony utworom i ludziom, którzy musieli opuścić własny kraj, by móc pisać i publikować, aby uratować się przed więzieniem. Autorzy ukazują, że choć zjawisko jest podobne zarówno dla literatury czeskiej, jak i polskiej, to jednak w sposób zasadniczy się różni. Czechosłowacki reżim na trwale wprowadził do podświadomości wielu ludzi pogląd, że ten, kto wyemigrował, jest w większy lub mniejszy sposób zdrajcą narodu. Tymczasem w Polsce odejście z własnego kraju było traktowane jako wyraz niepoddania się panującemu reżimowi.

K R O N I K A

Dík, že jsem byl učitelem i žákem LGU

Mnohokrát ve svém životě jsem byl vděčen osudu za to, že jsem mohl – nedlouho po válce – poznat hrdinský a kouzelný Leningrad, mnoho skvělých přátel a vynikajících osobností a profesorů na Filologické fakultě tehdejší LGU. Dnes bych jim rád vyjádřil ve své vzpomínce svůj dík...

V posledních dnech roku 1947 jsem přijel s první velkou skupinou československých studentů do Leningradu. Byli jsme vřele a nezapomenutelně přijati. Ba dokonce hned po příjezdu někteří z nás měli možnost oslavit příchod Nového roku ve skvělé rodině studentky bohemistiky Nataši Parašinovové, později Konovalovové. Tam jsme taky poznali některé své příští studenty, protože tři z nás – Radegast Parolek, Vladimír Barnet a já – jsme sice přijeli studovat rusistiku, ale měli jsme již za sebou složenou státní zkoušku z češtiny na Karlově universitě v Praze, a tak jsme mohli vypomáhat jako učitelé na slavistickém oddělení Filologické fakulty LGU. Já jsem učil ve dvou ročnících bohemistiky českou konverzaci a přednášel jsem vývoj českého spisovného jazyka, historickou mluvnici českou a československou dialektologii.

Své díkůvzdání píšu však ne jenom jako bývalý učitel Filologické fakulty LGU, ale i jako její student. Byl to zajímavý pocit být současně studentem a učitelem, zkoušeným a zkoušejícím, jeden den se bojím zkoušky u svých profesorů ja, druhý den mají obavy ze své zkoušky u mne moji studenti, vesměs moji přátelé. Hodně mi to pomohlo v mé pozdější pedagogické práci.

Jistě je, že mnozí naši žáci – bohemisté – se stali našimi nejlepšími přáteli během našeho studia, pomáhali nám poznávat život v poválečném Leningradě, jeho lidi, jeho dějiny a jeho podmanivou krásu. Zvali nás k sobě do rodin, na různé nezapomenutelné večírky, vytvořili si vlastní soubor československých písní a pomáhali nám na různých večerech seznamovat Leningraďany s naší zemí. I moje výuka probíhala ve skutečně přátelském ovzduší. Bylo to vidět na upřímném zájmu o výuku češtiny a také na potlesku, kterým některé mé přednášky odměňovali.

Vyjádřením našeho vzájemného srdečného vztahu byla i účast mých žáků bohemistů na obhajobě mé diplomové práce. Bylo jich tolik, že se obhajoba musela být převedena do větší místnosti, a jejich projevy byly tak spontánní a vřelé, že se mi s nimi těžko loučilo. Pak jsem se s nimi setkal jako jejich učitel ještě v roce 1952 a 1953, kdy obě skupiny přijely studovat k nám na Filosofickou fakultu do Prahy.

Přátelské vztahy s několika mými bývalými žáky pokračovaly po léta, do dneška. Především je to můj nejlepší ruský přítel Anatolij Serobabin, překladatel světově známých cestopisů Hanzelky a Zikmunda, moderních pohádek Macourkových

a jiných českých spisovatelů, s nímž si intenzivně dopisuji dodnes. Byli jsme mu vděční, že nám – jako zkušený účastník války – obětavě pomáhal při vojenských státnicích. Nikdy nelze zapomenout, že mi ukázal v 70. letech strašlivý „nevskij pjatačok smrti“.

Jako student rusistiky jsem nemusel začínat od začátku, protože již 4 semestry studia rusistiky jsem měl za sebou na Karlově universitě, stejně jako moji přátelé V. Barnet a R. Parolek. S V. Barnetem jsme dokonce měli 4 roky ruštinu na gymnasiu díky tomu, že ředitel našeho gymnasia využil v r. 1939 Stalinovy smlouvy s Hitlerem a zavedl výuku ruštiny. V. Barnet a já jsme se zaměřili především na lingvistiku, R. Parolek na literaturu. Já jsem kromě toho dostal za úkol od akademika B. Havráňky studovat ukrajinštinu vzhledem k tomu, že kromě ruštiny jsem uměl také slovensky a srbo-chorvatsky. Základy ukrajinštiny mi dával prof. Ju. S. Maslov. Proto také jsem byl po aspirantuře u akad. L.A. Bulachovského v Kyjevě 30 let vedoucím oddělení ukrajinistiky na FF UK a přednášel jsem úvod do slavistiky pro ruštináře.

Naší neveliké skupiny filologů se hned po našem příjezdu do Leningradu ujala s plnou vervou a s humorem jí vlastním tehdejší aspirantka Galina Aleksejevna Šilina, později Lilič, ze slovanského oddělení. Již tehdy uměla pěkně česky a natolik ovládala taje české gramatiky, že nám hned předložila několik vtipných návrhů na «zdokonalení» češtiny.

Značně ovlivnilo naše studium to, že jsme měli možnost seznámit na přednáškách i osobně s vynikajícími osobnostmi ruské vědy, jako byli profesori B.A. Larin, M. P. Aleksejev, Ju. S. Sorokin, S. G. Barchudarov, I. I. Meščaninov, F. P. Filin, Je. S. Istrina, R. A. Budagov, S. D. Kacnelson, V. J. Propp, I. P. Jerjomin, G. A. Gukovskij.

V první řadě jsem byl vždy vděčen profesorovi Borisu Aleksandroviči Larinovi, že byl vedoucím mé diplomové práce o problematice teorie překladu, že byl se mnou i s V. Barnetem na dialektologické výpravě u polárního kruhu na řece Mezení, že mi zajistil v r. 1950 výzkum ukrajinských nářečí na pomezí s běloruskými, že jsem mohl poslouchat jeho semináře a přednášky o litevštině, o sanskrtu, o vývoji spisovné ruštiny. To vše ovlivnilo mé příští zaměření na překladatelství, pomezní dialekty, komparatistiku a vývoj jazyka. Poznal jsem ho jako člověka mimořádných osobních kvalit a podmanivého kouzla také v jeho domácím prostředí, kam mě zval u příležitosti různých svátků a novoročních oslav. Byl mým nejlepším rádcem ve všech problémech osobních, odborných i veřejných. A zůstal jím i v naší vzájemné korespondenci po mém návratu do Prahy. Snad mohu ocitovat jeho slova v dopise z 10.1.1956: „I ja i Natalja Jakovlevna ljubim i pomnim Vas, trevožimsja o Vas, kak o rodnom syne, kogda dolgo net vestej“. Jen stěží lze vyjádřit, co jsem v něm ztratil, co jsme v něm ztratili.

S podobným srdečným přijetím a všestrannou pomocí jsem se setkal u akademika Michaila Pavloviče Aleksejeva, skvělého znalce ruské i zahraniční literatury, s nímž jsme vedli debaty o kultuře a o životě na jeho dače v akademgorodku v Komarově.

Když jsem dokončoval diplomovou práci, vážně jsem si poškodil oko a on dokázal v noci najít lékaře, který mi oko ošetřil a vyléčil. Až do jeho skonu jsem si s ním a s jeho ženou dopisoval. Jsem vděčen osudu, že jsem mohl blíže poznat dva tak vynikající velikány ruské vědy a skvělé lidi jako byl B. A. Larin a M. P. Aleksejev.

Nemohu nevzpomenout také na našeho velice milého a velmi moudrého profesora S. G. Barchudarova, u něhož doma jsem několikrát byl na jedinečných arménských hostinách se svým přítelem V. Barnetem a kde jsme vedli tvrdé diskuse o problémech tzv. Marrova *Nového učení o jazyce*, jednou i za přítomnosti akademika V. V. Vinogradova a I. I. Meščaninova. S profesorem Barchudarovem jsem si pak dlouho ještě dopisoval, i když přesídlil do Moskvy. A akademik Meščaninov jednou po své přednášce pozval mě a V. Barneta k sobě na čaj. Domů jsme šli až dvě hodiny v noci. Čaje jsme moc nevypili, zato jsme ochutnávali nejvzácnější druhy vín při živé debatě o zcela novém pohledu na Marrovo učení už po Stalinových statích o jazyce. A nemohli jsme věřit, že tak jemný a taktní člověk, jakým I. I. Meščaninov byl, mohl toto „učení“ hlásat.

Ze stanoviska českého poválečného studenta v SSSR bych rád vzpomenul, jak jsme byli udiveni, když např. po přednáškách profesora Dementjeva z ruské literatury – přednesené s dokonalým okáním – celý sál aplaudoval, nebo když před začátkem lekci se studentky střídaly u piana v posluchárně a ostatní zpívali, tancovali, nebo když na nesčetných večírcích, kam jsme byli zváni, dokázali ruští studenti recitovat dlouhatánské básně nebo úryvky z prozy, nebo když hráli šachy apod. S našimi spolužáky – ruštináři jsme zažili mnoho krásného na večírcích a oslavách u nich doma, na fakultních večerech, na společných výletech. Zažili jsme i tragické a velmi zlé doby, kdy po stalinských akcích tzv. boje proti kosmopolitismu zmizeli někteří naši profesori, po stalinské likvidaci leningradského vedení zmizeli i někteří naši spolužáci, po zatracení Tita museli odejít naši skvělí jugoslávští přátelé atd. I na to nelze nevzpomenout.

V červnu r. 1951 rektor LGU předal na slavnostním shromáždění diplomy s vyznamenáním prvním čtyřem poválečným zahraničním absolventům LGU: V. Barnetovi, J. Moravcovi, R. Parolkovi – absolventům ruské filologie a J. Vojtěchovi – žurnalistovi. Přes slavnostnost tohoto aktu jsme však všichni čtyři museli důkladně potlačovat smích, protože „pervyje inostrannyje pitomcy” v češtině znamená něco zcela jiného, česky *pitomec* je rusky *durak*.

I když od doby mého příjezdu do Leningradu uplynulo půl století, vzpomínky na čarovný Leningrad, na mé žáky i spolužáky, na mé profesory zůstávají živé. Jsem rád, že jsem mohl být učitelem i žákem LGU.

V Praze 26. května 1999.

Jaroslav Moravec, Praha

Чешские специалисты и восстановление богемистики в послевоенном Ленинграде

Славяноведение в России прошло сложный путь от становления и до подъема в XIX в. и вновь до упадка в 30-е годы XX в., который был обусловлен господством в науке так называемого „марровского учения о языке”, отрицавшего, в частности, роль и значение сравнительно-исторических методов¹.

Упраздненные были кафедры славянской филологии начали восстанавливаться лишь в пору Великой Отечественной войны, когда стали вырисовываться контуры будущей совместной борьбы славян с немецкими фашизмом. Но трудности военного времени не позволяли делу успешно развиваться. Очень красноречиво говорят об этом скупые строчки из Материалов к истории филологического факультета Ленинградского–Петербургского университета:

В августе 1941 г. ректор ЛГУ проф. А. А. Вознесенский издал приказ об организации кафедры славянской филологии. Заведующим кафедрой был назначен К. А. Пушкаревич [специалист по чешскому языку – Г.Л.], но кафедра к работе не приступила, в 1942 г. К. А. Пушкаревич умер от голода².

После эвакуации летом 1944 г. Ленинградского университета из волжского города Саратова идея о самостоятельной кафедре славянской филологии в его составе наконец реализовывалась, а первый набор студентов-славистов был произведен еще в Саратове. Однако возникли очень серьезные проблемы с кадровым обеспечением этой кафедры. К счастью, пережили военное лихолетье ученица К. А. Пушкаревича Евдокия Сергеевна Андреева (1915–1988) и историк западных славян Любовь Вячеславовна Разумовская, которая „переквалифицировалась” в преподавателя исторической грамматики чешского и польского языков.

Но как было учить студентов живому, например, чешскому языку, когда никто по существу не слышал, как он звучит! В богатой библиотеке славянского кабинета, где полки просто ломились под томами научной литературы XVIII

и XIX вв., практически не было современных текстов на славянских языках, не говоря уж об учебниках. К большой радости заведующей кафедрой Э. А. Якубинской, удалось раздобыть связку чешских книг: это были томики Я. Гашека – приключения уже всем тогда известного Швейка! Но оказалось, что для аудиторного чтения этот текст не очень-то годится: то и дело там попадались просторечные слова и обороты, не отраженные словарями и ставившие в тупик как учащихся, так и преподавателей.

В 1946 г. пришло спасение: в Ленинград приехала первая группа чехов, в которой были три филолога: Борживой Новак, Цтирад Босак и Наташа Калалова. А через несколько месяцев приехала и вторая, гораздо более многочисленная, группа студентов разных специальностей; среди них – Владимир Барнет, Ярослав Моравец, Радегаст Паролек³. Все перечисленные здесь чешские стипендиаты были привлечены к преподаванию чешского языка на славянском отделении в качестве лекторов. По существу, это было только началом традиции: после отъезда первых лекторов их в течение еще нескольких лет сменяли младшие коллеги.

Самым старшим из них был Борживой Новак (1906–1973), преподаватель русского языка в Брненском университете, довоенный ученик Б. Гавранека. „Борживой Фердинандович” (как он сам себя просил называть на русский лад) пользовался всеобщей любовью и, можно сказать, стал для многих эталоном чеха вообще. Спокойный, доброжелательный, с неизменной мягкой улыбкой, он покорял не только своих слушателей. Помню, как тепло относились к нему, например, официантки в студенческой столовой, почтительно называвшие его „Божемой Фердинандович”.

Более молодые коллеги Б. Новака тоже были учениками профессора, будущего академика Богуслава Гавранека. В их судьбе было много сходного: как известно, в 1939 г. в пору оккупации Чехословакии, были закрыты чешские университеты; многие студенты были угнаны на принудительные работы в Германию, кто-то оказался в лагерях, а остальные были предоставлены сами себе. Нашим добровольным лекторам Ц. Босаку, Н. Калаловой, В. Барнету, Я. Моравцу, Р. Паролеку (литературоведу, ученику Богумила Матезиуса) пришлось тогда прервать работу на третьем курсе Карлова университета. В Ленинграде они в течение трех лет завершили свое филологическое образование, написали дипломные сочинения по русистике и, вернувшись в Прагу, с успехом продолжали любимую работу.

Надо сказать, что первые чешские лекторы-студенты очень выделялись рядом общих для них черт: в первую очередь подлинным научным и общественным энтузиазмом, горячим стремлением догнать все, что было упущено за вре-

мя войны, в совершенстве овладеть русским языком, познать окружающую их советскую действительность и, пожалуй, самое главное – упрочить дружбу наших стран. Их объединяло также то, что они были учениками Б. Гавранека. Они знали то, что нам, ленинградским студентам и аспирантам, тогда было еще неизвестно: идеи Пражского лингвистического кружка. Ребята привезли с собой целые библиотечки новой филологической литературы, помогали нам готовить „домашнее чтение” по французскому языку по знаменитым „Travaux” Пражского лингвистического кружка.

Совершенно необыкновенной девушкой была Наташа Калалова. Ее русское имя объясняется тем, что в семье царил культ Льва Толстого. Началось это, вероятно, с дружбы ее деда Карла Калала с личным врачом и другом великого русского писателя – Душаном Маковецким. Три поколения этой семьи (дед и отец – литераторы и учителя) не только прекрасно знали творчество Л. Толстого, но даже все стали вегетарианцами! Наташа много лет прекрасно преподавала русский язык в Карловом университете; теперь она давно на пенсии; ее русские друзья и ученики по возможности навещают ее как самого близкого человека.

Цтирад Босак имел явно выраженный философский склад ума. В филологии его привлекало марровское учение о стадийном развитии языка, которое тогда официально рассматривалось как „марксизм в языкознании”. Цтирад с упоением открывал для себя „марксистские истины”, пропадал в библиотеках и на теоретических дискуссиях. По возвращении в Прагу он написал пару статей о марровском учении и оказался таким образом единственным „марристом” в Чехословакии. Впоследствии он серьезно занимался наукой и преподаванием русского языка в Карловом университете.

Для Владимира Барнета (1924–1983) и Ярослава Моравца лекторский опыт в Ленинграде, пожалуй, сыграл важную роль в их дальнейшей судьбе: ведь им пришлось у нас подготовить и прочитать кроме исторической грамматики и объемный курс истории литературного чешского языка. Для этого была твердая опора – новаторский для своего времени труд их учителя Б. Гавранека *Jývoj spisovně češtiny* (Praha 1934). Сопоставляя подходы русских и чешских научных школ, молодые ученые приобрели серьезную научную базу для будущих собственных исследований.

В. Барнет впоследствии стал одним из ведущих чешских русистов, а Я. Моравец, пройдя аспирантуру в Киеве, развернул обучение украинскому языку в Карловом университете.

Видным специалистом в области чешско-русских литературных связей стал и наш бывший лектор Радегаст Паролек, продолживший направление своего учителя проф. Богумила Матезиуса. В Ленинградском университете Р. Паролек читал курс чешской литературы для богемистов.

Подводя итоги этим коротким заметкам, хочется подчеркнуть особую роль первого послевоенного чешского лектората в Ленинградском университете как

³ Jaroslav Moravec, *Dík, že jsem byl učitelem i žákem LGU* [письмо к Г. А. Лиличу от

важного связующего звена между русской и чешской славистикой, положившего конец длительному вынужденному перерыву в научных связях. Возродились и давние, еще 20-х лет, дружеские отношения между нашими учителями – Б. Гавранек и Б. А. Лариным. Академик Б. Гавранек не раз приезжал в Ленинградский университет, поддерживал наши богемистические начинания и как бы ставил нас в один ряд со своими учениками...

Хочется верить, что эта драгоценная духовная связь между Учителями и Учениками никогда не прервется...

Галина А. Лилич, Санкт-Петербург

Изучение и преподавание чешской литературы на кафедре славянской филологии ЛГУ–СПбГУ

Преподавание и изучение чешской литературы началось в Петербургском университете с момента организации в 1835 году кафедры славянских наречий, когда сведения о ней стали включать в свои лекции по истории славянских литератур М. И. Касторский (1807–1866) и П. И. Прейс (1818–1846). Целая эпоха петербургской славистики с середины XIX века связана с именами И. И. Срезневского (1812–1880) и В. И. Ламанского (1833–1914), которые рассматривали литературный процесс в славянских землях на широком историко-культурном фоне. В их трудах наиболее полное освещение получил древний период в развитии чешской литературы. И. И. Срезневский глубоко изучал чешские древности в годы своего пребывания в Праге (1839, 1841–1842 гг.), всю свою жизнь он поддерживал сердечные отношения с К. Я. Эрбеном, вся их переписка исполнена неподдельного интереса к литературным памятникам чешского и русского народа далеких времен. Проф. В. И. Ламанский, более 30 лет работавший на кафедре славяноведения (так она стала называться в 1855 г.), читал уже специальный курс лекций по истории чешской литературы. (Сохранившийся их экземпляр, отпечатанный на гектографе, хранится в университетской библиотеке). Первый труд по истории чешской литературы в России, имевший большое общественное и культурное значение, тоже был издан профессором петербургского университета А. Н. Пыпиным (1833–1904) – это раздел *Литература Чехии* в его книге *Обзор истории славянских литератур* (1865). Более полным является этот раздел в двухтомной *Истории славянских литератур* (1879–1881), где повествование доведено до 70-х гг. XIX в. А. Н. Пыпин неоднократно бывал в Праге (1858–1859, 1859–1860, 1862), где стремился почерпнуть сведения о чешской литературе из первоисточника. Сразу же после возвращения в Россию он опубликовал в журнале „Современник” большой очерк *Два месяца в Праге* (1859–1860), а затем *Вячеслав Ганка* (1861), который содержит живые наблюдения и глубокие рассуждения передового деятеля русской науки и куль-

туры о чешской литературе и литераторах, с которыми он непосредственно общался. В своем обзоре чешской литературы Пыпин давал высокую оценку гуситскому движению как величайшему культурному событию в средневековой культуре всех славян. Вообще для Пыпина характерен глубокий историко-культурный взгляд на все события и явления литературного развития славян и чешской литературы в частности.

В XX столетии Петербургский университет получает не только новое имя – Ленинградский, но и претерпевает ряд изменений и преобразований, которые коснулись и славистики. Крупнейшим славистом в эти годы является академик Н. С. Державин (1877–1953), благодаря которому наука о славянстве продолжала жить в стенах университета. Являясь специалистом по болгарской литературе, он посвящал многие свои труды истории, этнографии, фольклору и литературам всех славянских народов. В области богемистики в 30-е гг. XX в. в университете работали профессора К. А. Пушкаревич (1890–1942) и В. Г. Чернобаев (1891–1947). Первый из них, литературовед, историк и этнограф, не только читал лекции по истории чешской литературы, но и создал интересную монографию *Чехи в России*. Научные интересы В. Г. Чернобаева были связаны с изучением польской и чешской литературы. Более четверти века он читал по ним общие и специальные курсы. В своих статьях по чешской литературе он касался как древнего периода (*Я. А. Коменский, начало книгопечатания*), так и особенно литературы нового времени (*Я. Неруда и чешская литература XIX в., Ян Коллар в России, Похождения бравого солдата Швейка* и др.)

Послевоенный период ознаменовался созданием специализированных славянских отделений в четырех университетах страны – Москве, Ленинграде, Киеве, Львове (1944). С этой поры начинается полнокровная жизнь ленинградской университетской славистики, возглавляемой академиком Н. С. Державиным. С 1948 по 1953 он руководил кафедрой славянских литератур и перевода, параллельно существовала кафедра славянского языкознания, во главе с профессором Э. А. Якубинской–Лемберг. После смерти Державина кафедры опять слились в единую кафедру славянской филологии. В таком виде она существует до настоящего времени. Традиции, заложенные Державиным, проявляют себя в высоком уровне преподавания, наряду с языковедческими дисциплинами, солидных всеобъемлющих курсов по каждой из славянских литератур – болгарской, польской, чешской, югославских. На I курсе читается краткий ознакомительный курс (от истоков до современности), весь II курс студенты изучают древнюю литературу, III курс посвящен углубленному знакомству с классикой (XIX в.), два семестра IV курса и первый семестр V курса отданы литературе XX в. Для преподавания истории чешской литературы была специально подготовлена выпускница кафедры, прошедшая аспирантуру и практику в Карловом университете в Праге И. М. Порочкина, которая до конца 80-х гг. была ведущим специалистом по чешской литературе в Ленинградском университете, читая параллельно лекции и по словацкой литературе.

Вместе с другими преподавателями славянских литератур – В. Д. Андреевым (болгарская), В. Б. Оболевичем (польская), Г. И. Сафроновым (литературы Югославии) – она участвовала в разработке целостной концепции развития славянских литератур в полном объеме (от создания славянской письменности до наших дней), что было вызвано потребностями обучения студентов, необходимостью знакомить их со всеми этапами существования литературы изучаемой славянской страны, с ее успехами и достижениями, ее вкладом в мировую литературу, а также с общими закономерностями и типологией литературного развития. Решался и целый ряд проблем методологического характера (историзм и народность, соотношение традиций и новаторство, направления и школы, методы и стилевые течения, и прочее). Именно в тот период (во второй половине XX в.) происходило становление ленинградской школы славянского литературоведения. Особую значимость и глубокую разработку теоретические вопросы славянского литературоведения получили в 70 гг. XX в., когда литературоведы кафедры славянской филологии ЛГУ приступили к осуществлению проекта создания сравнительного курса – написанию единого учебника по истории литератур южных и западных славян. В его подготовку включились и молодые специалисты по славянским литературам М. П. Мальков (польская), М. Л. Бершадская (югославские литературы), Н. К. Жакова (чешская). В ходе работы и совместных обсуждений уточнялись вопросы совместной периодизации, выявлялась общая концепция, разрабатывался единый подход к освещению тех или иных этапов (Ренессанса, Просвещения, барокко, романтизма и пр.), единые принципы рассмотрения литературных явлений (школ, методов, генологии). Несмотря на то, что сам учебник так и не был издан, принципы, положенные в его основу, стали определяющими в преподавании зарубежных славянских литератур, в том числе и чешской.

В его фундамент был положен сравнительно-исторический метод и типологический подход к рассмотрению близкородственных литератур, позволяющие выделить как общее и сходное, так и различное, национально-специфическое в их развитии.

Богемисты кафедры участвовали в работе научно-методического совета по высшему филологическому образованию при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР (1972–1986), выездные заседания которого нередко проходили в ЛГУ. Они создавали и обсуждали программы по курсу истории чешской литературы (И. М. Порочкина), так же, как и других славянских литератур. Активным было и участие богемистов в заседаниях ленинградского отделения Научного совета по комплексным проблемам славяноведения и балканистики, руководимых профессором А. С. Мыльниковым (1975–1990)¹.

¹ Н. К. Жакова, *Плодотворность комплексных исследований*, [в:] *Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. К IX Международному*

За последние годы были обновлены учебные программы по истории чешской литературы как основной (Н. К. Жакова) и в качестве второй славянской литературы (Н. К. Жакова)². Заново составлены программы спецкурсов *Чешский романтизм* (Н. К. Жакова), *Чешско-русские литературные взаимосвязи и перевод в XIX в.* (Н. К. Жакова), *Сравнительно-сопоставительное изучение русской и чешской силлаботоники* (Н. К. Жакова), *Тютчев и чехи* (Н. К. Жакова), *Проблематика современной чешской литературы* (Я. Врбова)³.

Постоянно ведется большая работа по привлечению студентов к исследованию славянских литератур. Этому способствует участие молодежи в спецсеминарах, написание курсовых и дипломных работ, подготовка докладов для выступления на конференциях, проведение юбилейных заседаний СНО, посвященных тем или иным чешским писателям. Хочется отметить активное участие во всех этих делах студентов-первокурсников. Их исследования и доклады не касаются, как правило, языкового мастерства писателя и стилистических проблем, ибо начиная изучение славянских языков в университете с нуля, они еще не могут свободно и глубоко воспринимать чешский текст. Однако им вполне по силам оказывается анализ сюжетно-композиционных особенностей произведения, вопросы жанровой специфики, историко-литературная проблематика. За последние годы был написан ряд интересных работ по творчеству А. Ирасека, К. Г. Махи, Б. Немцовой, К. Я. Эрбена, по истории переводов Я. Врхлицкого на русский язык и др. Студенты не только пишут доклады, но и готовят книжные выставки по материалам Библиотеки Академии наук (БАН), где в последние годы открылся Славянский фонд, с которым плодотворно сотрудничает кафедра славянской филологии.

В 60–80 гг. XX в. на филологическом факультете ЛГУ ведущей темой литературоведческих исследований стало изучение литературных взаимосвязей (под руководством профессора В. Д. Андреева). Слависты и богемисты не остались в стороне. И. М. Порочкина в течение многих лет исследовала славянские связи Л. Н. Толстого, результатом чего явилась ее монография *Л. Н. Толстой и славянские народы*,⁴ в которой на большом фактическом, научном и архивном материале показано значение Толстого для духовной жизни славян, которые искали в его художественном творчестве и его философии ответы на многие животрепещущие вопросы своего бытия и литературного развития.

съезду славистов, Издательство Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 1983, с. 149–155.

² *Кафедра славянской филологии. Учебные программы*, Издательство Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 2001, с. 371–427.

³ Там же, с. 516–531.

⁴ И. М. Порочкина, *Л. Н. Толстой и славянские народы. Литературно-эстетические и социально-философские взаимосвязи второй половины XIX–начала XX века*. Издательство Ленинградского университета, Ленинград 1983, 167 с.

Процесс этот был взаимным, ибо и Толстой многое почерпнул для себя из многообразного общения со славянским миром. В последнее десятилетие И. М. Порочкина занимается исследованием творчества Т. Г. Масарика и его связями с Россией.

Чешско-русские литературные связи легли в основу научных изысканий Н. К. Жаковой, более всего это касается творчества Пушкина, Лермонтова, Тютчева и их восприятия в Чехии⁵. Вопросами восприятия и переводов В. Незвала в Советском Союзе занималась в 80-е гг. Т. Е. Аникина (Бухаркина). Аспирантка кафедры Н. Стенина исследует восприятие в Чехии творчества М. Цветаевой.

Помимо изучения литературных контактов кафедра славянской филологии разрабатывает вопросы, непосредственно связанные с развитием чешской литературы нового времени. Многие годы занималась творчеством М. Пуймановой И. М. Порочкина, посвятившая ей свою кандидатскую диссертацию⁶, и Т. Е. Аникина, стремившаяся определить особенности построения образа в прозе и поэзии чешской писательницы⁷.

И. М. Порочкина писала также о Ю. Фучике, З. Неедлом, о творчестве К. Светлой и А. М. Тильмовой, многочисленные заметки о чешских и словацких поэтах и писателях в различных антологиях и сборниках. Предметом научных интересов Н. К. Жаковой было творчество чешских писателей – классиков К. Светлой и В. Галека, а также связи В. Галека с русской литературой. Т. Е. Аникина сейчас занимается изучением структуры текста с точки зрения его неоднородности и появления мест наибольшего напряжения текста как проявлений его смысловой и формальной выделенности.

В течение шестнадцати лет работала на кафедре славянской филологии ЛГУ–СПбГУ лектор из Чехии Ярослава Врбова. Ее любимым автором был современный чешский писатель Й. Шкворецкий, о его романах она рассказывала неоднократно на славистических встречах.

⁵ Н. К. Жакова, *Чешско-русские литературные связи в XIX в. М. Ю. Лермонтов и чешская литература. Учебное пособие*, Ленинград 1987, 84 с.; Н. К. Жакова, *Теория и практика перевода. Русская поэзия в чешских переводах в первой половине XIX века. Учебно-методическое пособие*, Издательство Московского университета, Москва 1988, 45 с.; Н. К. Жакова, *Тютчев и славяне. Учебное пособие*, Издательство Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 2001, 62 с.

⁶ И. М. Порочкина, *Творчество Мариш Пуймановой*. Автореф. дисс. канд. филол. наук, Ленинград 1959.

⁷ Т. Е. Бухаркина, *К вопросу об образной символике в поэзии и прозе М. Пуймановой* [в:] *Проблемы современной филологии. Диалектика формы и содержания в языке и литературе. Тезисы докладов межвузов. конф.*, Пермь 1982, с. 88–89; Т. Е. Бухаркина, *Построение образа в поэзии и прозе Пуймановой*, [в:] *Задачи коммунистического строительства и перспективы развития советской филологии. Межвузовский сборник*, Ленинград 1982, с. 110–115.

В конце 90-х гг. XX в. на филологическом факультете СПбГУ прошла крупная международная конференция *Взаимосвязи и взаимовлияния русской и европейских литератур*, организованная по инициативе славистов – профессоров кафедры славянской филологии Г. И. Сафронова и В. Д. Андреева. На секции *Русско-славянские литературные связи* выступали и наши богемисты: И. М. Порочкина (совместно с И. Иновым) прочитала доклад *Между Толстым и Достоевским (исследования русской художественной мысли в трудах Т. Г. Масарика)*; тема выступления Н. К. Жаковой – *Тютчев и славяне*; Т. Е. Аникина вернулась к своей ранней теме – *К вопросу параллельности культур (рецепция М. Пуймановой в России)*; Я. Врбова представила доклад *Ненавязчивый взгляд грустного сыщика Й. Шкворецкого на мир, Чехию и чехов*. Среди выступавших был также известный петербургский богемист О. М. Малевич с сообщением *К вопросу о судьбе акмеизма (перекличка Петербурга, Москвы, Парижа и Праги)*; выпускница чешского отделения, работающая в университете на другой кафедре, старший преподаватель Е. Н. Викторова, выступившая с темой *Драматургия Чехова на чешской сцене*; гостя из Брно профессор Д. Кшицова, с докладом *Русская драма и театр в чешской среде* и др.⁸

Петербургские богемисты постоянно участвуют в ежегодных научных конференциях филологического факультета СПбГУ. Теперь у них появилась еще одна возможность заявить о себе и своей теме: с 1999 г. ежегодно на кафедре славянской филологии 12–14 сентября проводятся Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова, которые более 30 лет возглавляли кафедру; там работают секции *История славянских литератур*, *Типология славянских литератур*, *Культурные и литературные взаимосвязи*, *Проблемы славянского стихосложения*, *Теория и критика перевода*.

В Петербурге появилось общественно-культурное объединение *Общество братьев Чапек*, которое ставит своей целью пропаганду чешской литературы и искусства. Все богемисты кафедры, включая и студентов, являются членами этого общества, проводящего свои заседания третью пятницу каждого месяца в 16 часов (как это было когда-то у К. Чапека, к которому собирались чешские писатели, художники, артисты. С докладами выступают как маститые ученые, так и начинающие свой путь в богемистике студенты, а затем эти материалы печатаются в Ежегоднике общества братьев Чапек⁹.

Наталья К. Жакова, Санкт-Петербург

⁸ См. сб. *Взаимосвязи и взаимовлияние русской и европейских литератур. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 13–15 ноября 1997 г.*, Издательство Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 1999.

⁹ Ежегодник „Общества братьев Чапек” [Прага–Санкт-Петербург], 4 выпуска: 1997, 1998, 1999–2000, 2001–2002.

Чешский раздел библиотеки кафедры славянской филологии СПбГУ

Слависты Санкт-Петербурга для научной и учебной работы могут воспользоваться рядом библиотек. Прежде всего, это Российская национальная библиотека (ранее Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), книгохранилище мирового уровня, входящее в число 20 крупнейших библиотек мира. Ее фонды комплектуются по принципу обязательного экземпляра, таким образом, читатели могут получить любое издание, вышедшее в свет на территории Российской Федерации. Читателем библиотеки может стать любой житель нашего города. Все студенты и сотрудники СПбГУ становятся читателями Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ – университетской библиотеки, специализирующейся на научной и учебной литературе и комплектуемой с учетом потребностей учебного процесса. Тесные отношения связывают кафедру славянской филологии и Славянский фонд Библиотеки Российской Академии наук: первое в России состоявшееся научное собрание книг по славистике, возникшее в 30-х гг. XIX в. Чешская часть собрания представлена чешскими старопечатными книгами (около 50 изданий), а также научной литературой по чешской филологии, истории, этнографии, прежде всего на чешском и на других европейских языках (около 1500 книг), чешской художественной литературой (около 3 500 изданий), периодикой на чешском языке (более 200 наименований). Эти издания были опубликованы в период с первой четверти XVIII в. до 20-х гг. XX в. На основе договора о сотрудничестве между кафедрой славянской филологии и Славянским фондом Библиотеки РАН студенты кафедры имеют право стать читателями библиотеки, а также проходят на базе Славянского фонда филологическую практику на третьем курсе. Подробно о славянском фонде Библиотеки РАН и о чешской части Фонда можно узнать из книги: *Богемисту о Славянском фонде Библиотеки Российской Академии наук: Путеводитель по фонду* (сост. О. В. Гусева, Е. В. Комиссароватов, ред. В. П. Леонов, Санкт-Петербург 2000, 68 с.).

Библиотека кафедры славянской филологии – систематизированное собрание научной, учебно-методической и художественной литературы на 15 европейских языках – обеспечивает учебный процесс по специальностям „болгарский язык и литература”, „польский язык и литература”, „сербохорватский язык и литература”, „словацкий язык и литература”, „чешский язык и литература”, а также служит надежным подспорьем в научной работе.

Основу фонда составила личная библиотека проф. В. И. Ламанского, переданная Славянскому семинарию Петроградского университета (так в то время называлась кафедра) по завещанию самого ученого в 1915 году и насчитывавшая около 10 тысяч томов. Впоследствии кафедральную библиотеку дополнили

книги из личных собраний профессоров Н. В. Ястребова, Э. А. Якубинской-Лемберг, Ю. С. Маслова, В. Д. Андреева, П. А. Дмитриева. На полках библиотеки стоят книги с автографами И.А. Бодуэна де Куртенэ, К. Я. Грота, П. А. Лаврова, Р. Ф. Брандта, Н. С. Державина, Б. А. Ларина и многих других ученых-славистов.

Чешская часть библиотеки подразделяется на 6 разделов: художественная литература, лингвистическая литература, литературоведческая литература, периодические издания, литература по страноведению, учебная литература (более 4 тысяч томов). Самый большой раздел – художественная литература на чешском языке – насчитывает более 3 тысяч томов оригинальных произведений чешских писателей, в том числе первоизданий и прижизненных изданий, а также переводы на чешский язык русской классики. Чешская художественная литература представлена во всем разнообразии жанров, литературных направлений и течений, во всем блеске имен – от Козьмы Пражского и Яна Амоса Коменского до Йозефа Шкворецкого и Милана Кундеры. Раздел, посвященный чешскому языку, насчитывает более 500 томов научных исследований по фонетике, морфологии, синтаксису, лексикологии, словообразованию, фразеологии и истории чешского языка, а также освещающих проблемы становления, развития и современного состояния чешского литературного языка, его стилистики. Это книги Я. Гебауера, Ф. Травничека, В. Шмилауера, Б. Гавранека, А. Едлички, М. Докулила, А. Г. Широковой, Г. А. Лилич, сборники статей, материалы научных конференций. Замечательна подборка чешских специальных лингвистических словарей. Основу раздела, посвященного истории чешской литературы, составили книги из частной библиотеки проф. Н. В. Ястребова. В настоящее время раздел насчитывает более 500 книг, в том числе книги З. Неедлы, Р.Р. Кузнецовой, Н. К. Жаковой. Периодика представлена такими изданиями, как „Slavia”: „Časopis pro slovanskou filologii”, „Český jazyk a literatura”, „Česká literatura”, „Slovo a slovesnost”, „Literární měsíčník”. Страноведческий раздел объединяет более 400 разнообразных изданий, среди которых труды чешских и российских историков и этнографов, художественные альбомы, путеводители, атласы и энциклопедии. Учебная литература представлена учебниками, учебными пособиями и словарями как отечественных, так и чешских авторов. Старейшими двуязычными словарями являются чешско-русский и русско-чешский словари Й. Ранка 1895 и 1897 гг. издания.

В настоящее время благодаря чешским лекторам библиотека активно пополняется новейшей литературой, как художественной, так и научной.

Читателями библиотеки являются не только преподаватели, студенты и аспиранты кафедры славянской филологии, но и сотрудники других кафедр филологического факультета, а также сотрудники института лингвистических исследований РАН, учителя славянских гимназий и лицеев Санкт-Петербурга.

Ольга В. Васильева, Санкт-Петербург

Богемистика в Санкт-Петербургском Государственном Университете в конце XX–начале XXI века

В 1835 году Уставом Санкт-Петербургского университета была учреждена кафедра истории и литературы славянских наречий, которая затем в процессе длительного развития несколько раз меняла свое название. С середины XX века это учебное подразделение филологического факультета ЛГУ (СПбГУ) называется кафедрой славянской филологии – здесь готовят славистов-филологов широкого профиля на болгарском, польском, чешском, сербохорватском, а с 2000 года и на словацком отделении. На кафедре также преподаются и другие славянские языки: с 70-х гг. – македонский и словенский, с конца 90-х – белорусский и украинский.

Студенты-богемисты изучают чешский язык в качестве основного славянского языка с первого по пятый курс. На каждом курсе студенты пишут научно-исследовательские курсовые работы под руководством научных руководителей – преподавателей кафедры. К четвертому курсу уже окончательно определяется сфера научных интересов студента: лингвистика или литературоведение. Обучение завершается защитой дипломного сочинения, которая требует обязательных отзывов от двух рецензентов, ознакомившихся с дипломной работой, а также научной дискуссии по теме между дипломантом, рецензентами и членами ГАК (Государственной Аттестационной Комиссии).

В случае защиты диплома с отличием выпускники получают рекомендацию для поступления в аспирантуру кафедры славянской филологии. Зачисление в аспирантуру производится на основе конкурсного отбора сдавших вступительные экзамены (по специальности, философии и западному иностранному языку). В дневной аспирантуре обучение длится три года, в заочной – четыре года. К защите кандидатской диссертации допускаются аспиранты и соискатели, сдавшие экзамены кандидатского минимума (по тем же предметам, что и при поступлении в аспирантуру), опубликовавшие по теме диссертации несколько научных статей и получившие рекомендацию кафедры к защите в Ученом совете факультета. После защиты кандидатской диссертации решение ученого совета университета утверждается в ВАКе в Москве и диссертанту присваивается ученая степень кандидата филологических наук.

Кандидат филологических наук, имеющий стаж научно-педагогической работы на кафедре, учебно-методические труды и другие научные публикации, может быть представлен к ученому званию доцента.

Ученая степень доктора филологических наук присуждается кандидатам филологических наук, которые написали и защитили в ученом совете докторскую диссертацию, представляющую собой новое слово в науке. На защиту выносятся докторские диссертации, поддержанные десятками научных публика-

ций автора, в том числе монографией по теме. Процедура защиты докторской диссертации отличается от защиты кандидатской диссертации большим числом обязательных оппонентов (три официальных оппонента – профессора и официальный оппонент – учреждение).

Доктора филологических наук, имеющие стаж работы и рекомендацию кафедры, могут быть представлены к званию профессора кафедры.

В „новый период” существования кафедры (с 1944 года) преподаватели-богемисты, работавшие ранее или в настоящее время на кафедре, защитили следующие кандидатские диссертации:

- 1956 г. – Г. А. Лилич, *Обогащение чешского литературного языка в результате установления в Чехословакии народно-демократического строя* (научный руководитель – доц. Э. А. Якубинская-Лемберг);
- 1959 г. – И. М. Порочкина, *Творчество Мариш Пуймановой* (научный руководитель – доц. С. С. Советов);
- 1969 г. – В. М. Мокиенко, *Лингвистический анализ местной географической терминологии (псковские аппелятивы, обозначающие низменный рельеф, на славянском фоне)* (научный руководитель – доц. Г. А. Лилич);
- 1975 г. – Н. К. Жакова, *М. Ю. Лермонтов в чешской литературе 40-70-х годов XIX в.* (научный руководитель – доц. И. М. Порочкина);
- 1976 г. – Р. Х. Тугушева, *Историко-семантическое исследование группы слов, выражающих понятие «торговля» в русском, чешском и словацком языках донационального периода* (научный руководитель – доц. Г. А. Лилич);
- 1985 г. – Л. И. Степанова, *Фразеологические единицы с именами собственными (на материале чешского языка)* (научный руководитель – проф. В. М. Мокиенко);
- 1986 г. – М. Ю. Котова, *Славянские фразеологические параллели в художественном тексте (автобиографическая трилогия М. Горького)* (научный руководитель – проф. В. М. Мокиенко);
- 1999 г. – Т. Е. Аникина, *Система речевых образов в поэзии и прозе М. Пуймановой* (научный руководитель – проф. Г. А. Лилич);
- 2002 г. – А. В. Савченко, *Интертекстуальные элементы в структуре художественного произведения как экспрессивно-выразительное средство (на материале романа чешского писателя Й. Шкворецкого «Танковый батальон»)* (научный руководитель – проф. Г. А. Лилич).

В этот же период преподаватели кафедры защитили следующие докторские диссертации по богемистике:

- 1976 г. – В. М. Мокиенко, *Противоречия фразеологии и ее динамика*;
- 1977 г. – Г. А. Лилич, *Роль русского языка в становлении словарного состава чешского национального литературного языка (конец XVIII – начало XIX века)*.
- в 2003/2004 году планируется представить к защита докторские диссертации доц. Н. К. Жаковой, *Типология чешско-русских литературных взаимосвязей*, доц. Р. Х. Тугушевой, *Особенности исторического развития лексики близкородственных языков (на материале чешского и словацкого языков)* и доц. М. Ю. Котовой, *Славянская паремология*, в которых в том или ином объеме затрагивается богемистическая проблематика.

Под научным руководством Г. А. Лилич аспирантами других вузов было защищено еще семь кандидатских диссертаций по богемистике:

- 1974 – Л. М. Бобровой, *Сопоставительный анализ словообразовательных типов глаголов с префиксом до- в русском и чешском языках*,
- 1981 – В. Е. Моисеенко, *Чешское влияние на формирование словарного состава языка хорватской науки и просвещения в период национального возрождения (30 – 80-е годы XIX века)*,
- 1982 – Л. А. Куликовой, *Междометия в современном чешском языке (в сопоставлении с русским)*,
- 1988 – Л. В. Стижко, *Экспрессия разговорности в контексте чешского и русского художественного диалога*,
- 1991 – Л. Н. Костяковой, *Функционально-семантическое поле компаративности в чешском и русском языках*,
- 1996 – Е. Н. Баковой, *Особенности функционирования чешских и русских частиц (сопоставительный аспект)*,
- 2002 – Т. А. Милотиной, *Чешско-русские лексико-семантические соответствия в области художественной речи (художественная система В. Распутина в чешских переводах)*.

Под научным руководством проф. В. М. Мокиенко аспирантами других вузов защищены следующие кандидатские диссертации по богемистике:

- 1976 – В. И. Супруном, *Семантическая и словообразовательная структура славянских этимонов*;
- 1980 – Н. И. Демьяновичем, *Устойчивые сравнения со значением состояния в русском, чешском и словацком языках (сопоставительный анализ)*,
- 1983 – И. М. Тепляковым, *Фразеологические средства выражения понятия неопределенно-большого множества в современном чешском языке*,
- 1983 – Е. И. Селиверстовой, *Проблема перевода на чешский язык фразеологии произведений Н. С. Лескова*,
- 1983 – Т. В. Лазоркиной, *Фразеология в чешской прессе*.

Во время обучения на чешском отделении студенты слушают специальные лекционные курсы и посещают семинары, подготовленные преподавателями кафедры с учетом научных разработок, защищенных в указанных диссертациях.

Очень важной составной частью учебного процесса является деятельность студенческого научного общества „Славянские пятницы”, заседания которого студенты готовят под руководством куратора от кафедры – обычно аспиранта или молодого преподавателя. К традиционным темам заседаний относятся отчеты студентов-первокурсников о стажировках в университетах страны изучаемого языка, славянские национальные праздники и обычаи, писательские юбилеи, проблемы теории и практики перевода, история славянской письменности и др. Все заседания завершаются пением славянских народных песен. Члены славянского СНО всегда активно выступают на ежегодных студенческих конференциях, которые филологический факультет СПбГУ проводят в начале апреля. В 2003 году на VI Межвузовской научной конференции студентов-филологов в секции „Славянская филология” (руководители – доценты Г. В. Крылова и Н. К. Жакова; ответственная за работу секции – преподаватель чешского языка и литературы, куратор СНО „Славянские пятницы” Н. В. Штакельберг) прозвучали следующие доклады студентов чешского отделения: М. В. Андреевой

(II курс): *Фразеосемантическое и паремнологическое поле «любовь» в чешском и русском языках* (научный руководитель – доц. Р. Х. Тугушева), А. И. Дудкиной (II курс): *О понятии «имидж» в чешском языке* (научный руководитель – доц. Р. Х. Тугушева), А. А. Корабельниковой (II курс): *Разговорная лексика в рассказах С. Довлатова в переводе на чешский язык (на материале сборника «Чемодан»)* (научный руководитель – доц. Р. Х. Тугушева), А. А. Самухина (II курс): *История изучения чешского сленга и проникновения его в художественную литературу* (научный руководитель – доц. Р. Х. Тугушева), О. С. Сергиенко (IV курс): *Функционирование пословиц в современной чешской публицистике* (научный руководитель – доц. М. Ю. Котова), А. С. Тарбаевой (II курс): *Изменения в лексико-семантической системе современного чешского языка на примере терминологии современной чешской музыки* (научный руководитель – доц. Р. Х. Тугушева), Д. В. Яконюк (I курс): *Ярослав Врхлицкий в русском восприятии (переводы, оценки)* (научный руководитель – доц. Н. К. Жакова) и другие. Тезисы студенческих докладов опубликованы в сборнике издательства филологического факультета СПбГУ. У некоторых студентов это уже вторая публикация.

Студенты-богемисты во время обучения в СПбГУ имеют возможность съездить в Чехию по направлению Министерства образования РФ на летнюю школу в Прагу, Пардубице, Оломоуц (на младших курсах) и на 5-месячную стажировку в Карлов университет в Прагу (после третьего-четвертого курса).

Большую помощь в организации зарубежных стажировок оказывает Генеральное консульство Чешской Республики в Санкт-Петербурге, которое также предоставляет стипендии для обучения наших студентов на летних школах в Чехии (последние два года – в Южно-Чешском университете в г. Ческе Будеевице).

Переводческая практика студентов с 1999 года организуется кафедрой во время работы международной научной конференции „Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова” 11–15 сентября ежегодно. Студенты пятого курса, выполняя обязанности сопровождающих участников конференции, получают возможность общения с носителями славянских языков, в некоторых случаях могут получить научные консультации, установить контакты.

С 2002 года кафедра начала проводить в июле ежегодную Летнюю школу славистики, куда приезжают студенты старших курсов, бакалавры и молодые преподаватели из славянских стран. Летняя школа славистики также дает возможность нашим студентам получить переводческий опыт.

После окончания университета богемисты работают, как правило, с несколькими иностранными языками, нередко одновременно с чешским и западноевропейским (английским, немецким, французским). Практика трудоустройства наших выпускников подсказала изменения в учебных планах кафедры: нынешние студенты теперь изучают не один западноевропейский язык, а два (для студентов-богемистов одним из западноевропейских языков теперь обяза-

тельно должен быть немецкий); в 2003 году откроется и совершенно новое отделение – „Чешский язык и литература, английский язык”.

Учебный план нового чешско-английского отделения был подготовлен в процессе тщательного анализа и длительных дискуссий двух кафедр – славянской филологии и английской филологии СПбГУ. В основу плана положен принцип паритетности объемов двух специальностей – „чешский язык и литература” и „английский язык и литература”. Поскольку никогда ранее в СПбГУ такого отделения не существовало, авторы учебного плана опирались на опыт подобных комбинаций в Чехии, Словакии, Болгарии. Среди дисциплин нового отделения значатся такие ранее не разрабатывавшиеся курсы как „Культурные чешско-английские взаимосвязи” и „Сопоставительная чешско-английская грамматика”. В 2003/2004 учебном году новое отделение „Чешский язык и литература, английский язык” примет первых в своей истории студентов (7 человек). Оно станет шестым по счету отделением на кафедре славянской филологии.

В 2002/2003 учебном году чешский язык на кафедре славянской филологии СПбГУ преподают как опытные преподаватели с большим стажем работы (профессор Галина Алексеевна Лилич, доцент Наталия Кирилловна Жакова, доцент Роза Хасановна Тугушева), так и их ученики (доцент Татьяна Евгеньевна Аникина, доцент Марина Юрьевна Котова, старший преподаватель Милена Олеговна Мельниченко, ассистенты Александр Викторович Савченко, Наталия Владимировна Штакельберг, Михаил Борисович Шулин). По традиции некоторые преподаватели ведут занятия и по языку, и по литературе (доц. Н. К. Жакова, доц. Т. Е. Аникина, ассистент Н. В. Штакельберг).

Нельзя не сказать здесь отдельно о совершенно особой роли для богемистики на кафедре профессора Галины Алексеевны Лилич – Учителя всех нынешних богемистов кафедры.

Галина Алексеевна Лилич поступила в ЛГУ в 1943 году. С отличием окончив славянское отделение, она в 1948 году поступила в аспирантуру. С 1952 года, после годичной стажировки в Карловом университете, Г. А. Лилич начала преподавать на кафедре. В 1956 г. блестяще защитила кандидатскую диссертацию. В 1961 г. она утверждена в звании доцента, а в 1979 г., после защиты докторской диссертации – в звании профессора. Она является автором 120 научных работ по лексикологии, лексикографии, стилистике, теории и практике перевода. Г. А. Лилич награждена медалью „В память 250-летия Ленинграда” (1957), юбилейной медалью „За доблестный труд” (1970), знаком Министерства высшего и среднего специального образования СССР „За научную работу” (1982), памятными медалями Карлова университета (1985, 1998), дипломом Лауреата университетской премии (1999), медалью „Санкт-Петербургский государственный университет” (1996), бронзовой медалью „Филологический факультет” (1999). В 1999 г. Г. А. Лилич присвоено почетное звание „Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации”. В 2002 году Г. А. Лилич стала Почетным профессором СПбГУ.

Кафедра очень ценит международные контакты с чешскими университетами. Нас связывают договоры о сотрудничестве с Остравским университетом и Западночешским университетом, благодаря которым студенты и преподаватели получают возможность практики и научной стажировки в вузах-партнерах.

Богемистика на кафедре с 70-х годов XX века постоянно поддерживается чешским лекторатом. Мы помним лекторов из Чехии Зденку Леоновичову, Мирославу Шперлову, Михаэлу Шрайбову.

С 1985 до 2002 года на кафедре преподавала чешский язык и литературу выпускница Карлова университета незабвенная Ярослава Врбова (1950–2002). Она навсегда останется в памяти ее учеников и коллег как талантливый, предельно искренний, бескомпромиссный человек, неординарный и яркий преподаватель, заражающий своей любовью к чешской литературе любую аудиторию.

В 2002/2003 учебном году на кафедре работает магистр Михал Косак. Работа чешских лекторов на кафедре очень важна как для студентов, так и для преподавателей.

Трудно писать о богемистике на кафедре, отделяя ее от других славистических специальностей (полонистики, болгаристики, сербистики, словакистики, украинистики, белорусистики), так как традиционно изучение славянских языков ведется в сопоставительном аспекте, причем часто не только с русским языком. Общие лекционные курсы (введение в славянскую филологию, славянский фольклор, славянская паремиология, старославянский язык и др.), изучение второго и третьего славянских языков (для богемистов это сербский, болгарский, украинский или польский язык), работа в СНО и участие в научных конференциях создают условия для развития славистов широкого профиля, воспринимающих научную и учебно-методическую проблематику на общем славистическом фоне. Подтверждение этому – в наших статьях этого номера „Богемистики”.

Марина Ю. Котова, Санкт-Петербург